



I

* * *

Я откинул докучную маску,
Мне чего-то забытого жаль...
Я припомнил старинную сказку
Про священную чашу Грааль.

Я хотел бы бродить по селеньям,
Уходить в неизвестную даль,
Приближаясь к далеким владеньям
Зачарованной чаши Грааль.

Но таить мы не будем рыдания,
О, моя золотая печаль!
Только чистым даны созерцанья
Вечно радостной чаши Грааль.

Разорвал я лучистые нити,
Обручавшие мне красоту;—
Братья, сестры, скажите, скажите,
Где мне вновь обрести чистоту?

* * *

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман... но я молчу и жду

И верю, я любовь свою найду...
Я конквистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропасть и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

ВВЕРХ ПО НИЛУ

(листы из дневника)

9 мая.

Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой ночью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная, каждой ночью я ясно помню, что мне надо сделать, но просыпаясь забываю все. Проходят дни, недели, а я все еще в Каире.

11 мая.

Завтра решится все. Сегодня на вечере у французского консула я встретил высокого англичанина с надменной линией губ и детски-веселыми голубыми глазами. Мне сказали, что он художник и едет к истокам Нила. И при первом взгляде я понял, что он знает многое. Если вообще тайна жива среди арийских народов, то англичане чаще других владеют ею. Я пригласил его на кофе и с тревогой ждал ответа. Он обещал прийти.

12 мая.

- Сигару, мистер Тьерри?
- Благодарю, мистер Грант.
- Говорят, в истоках Нила лихорадки и москиты.
- Да, но там есть также священные крокодилы особенной редкой породы, изумрудные.
- Арабы интереснее негров.
- Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических лесах еще могуче племя мудрых эфиопов под властью потомка короля-волхва Балтазара.

— Это вроде романов Райдера Хаггарда.

— Нисколько! Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой кожей. Но мы, люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скрытого. И мы находим тайны там, где Хаггард не увидел бы ничего, кроме высушенной пальмы и больной негритянки.

— Но где же золото, пурпур и роскошь черных царей?

— Вы видите эту золотую монету? Разве она радует Вас; а эти красные шелковые занавески, этот ковер из старой Персии, на котором быть может заклинали солнечных духов, все это слишком искусно скрывает свою тяжелую скуку. И мне кажется, что вот-вот и наши великолепные зданья вдруг раскроются неудержимым, гигантским зевком. Я был бы огорчен, если бы в моем путешествии встретил что-нибудь подобное.

— Что же можно встретить?

— Новое познание, которое укажет другую сторону всех вещей. Найдите его и вы будете изумлены, как Вы могли считать облако атмосферическим явлением, когда оно на самом деле звездокрылая бабочка из царства примитивов Джиото. И кокосовый орех расскажет Вам больше, чем книги всего мира.

— Если Вы позволите, мистер Тъери, я поеду с Вами.

— Тогда надо торопиться, мистер Грант, я выезжаю на расвете.

24 мая.

Мы едем почти две недели и сегодня высадились на берег около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Лестница вилась, поднималась и опускалась и внезапно окончилась пугающей заманчиво-черной ямой. Мистер Тъери лениво пожал плечами и пошел на верх, а я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держа в руке смоляной факел, ронявший огненные капли в темноту. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна и, присев на камень, огляделся. Мой факел освещал только часть пещеры, старую, старую и странно-родную.

Где-то сочилась вода. Валялись остатки рассыпавшейся мумии. Мелькнула и скрылась большая черная змея. — Она никогда не видела солнца, — с тревогой подумал я. Задумчивая жаба выползла из-за камня и видимо хотела пойти ко мне. Но ее пугал свет факела.

Мне стало вдруг так грустно, как никогда еще не бывало. Чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую

гиероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старше луврских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письма. Но должно быть благословение задумчивой жабы прояснило мой ум, я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумий. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все.

Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится, одно слово... и новое солнце запляшет в золотистой лазури и все ошибки превратятся в цветы.

Мой факел затрещал и начал гаснуть. Но я прочитал довольно. Я начал подниматься и при последней вспышке огня опять увидел черную змею, мелькнувшую неясным предостережением, и милые, милые святые буквы.

Я без труда отыскал мистера Тъери, который сидел неподалеку и рисовал мертвого крокодила. При моем приближении он поднял на меня свои детские, незнающие глаза. Я улыбнулся и сказал мое таинственное слово, которое я принес из глубин пирамиды. Солнце закружилось, запрыгало и покатилося как черный шар в бездонность, а на его месте загорелись слова: — Ты не дочитал, несчастный, и то, что ты сказал — яд! В ужасе я упал на землю и как сквозь сон слышал встревоженный земной голос: «Что с Вами, мистер Грант».

17 июня.

Три недели пролежал я в сильной нильской лихорадке и только сегодня могу снова приняться за дневник. Мистер Тъери привез меня обратно в Каир и ухаживал за мной, как за ребенком. Но кажется он о чем-то догадывается, потому что когда я сказал ему, что мы должны возвратиться к пирамиде, он начал распространяться о неоплатониках и их солнечных заклинаниях и, наконец, почти не скрываясь: — Бойтесь задумчивых жаб.

Откуда он знает?

* * *

Зачарованный викинг, я шел по земле,
Я в душе согласил жизнь потока и скал,
Я скрывался во мгле на моем корабле,
Ничего не просил, ничего не желал.

В ярком солнечном свете — надменный павлин,
В час ненастья — внезапно свирепый орел,
Я в тревоге пучин встретил остров ундин,
Я летучее счастье, блуждая, нашел.

Да, я знал, оно жило и пело давно.
В дикой буре его сохранилась печать.
И смеялось оно, опускаясь на дно,
Поднимаясь к лазури, смеялось опять.

Изумрудным покрыло земные пути,
Зажигало лиловым морскую волну...
Я не смел подойти и не мог отойти
И не в силах был словом порвать тишину.

В ПУТИ

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести;
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез —
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздых его — огненный смерч, —
Люди его назовут
Сумрачным именем: Смерть.

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора,
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!

Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрести наконец
Неотцветающий сад.

ЧИТАТЕЛЬ КНИГ

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознания,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижимый, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!

КАПИТАНЫ

1

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведаль мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

2

Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс,
О ваших победах гремят в дифирамбе
Седые валы, набегая на мыс!

А вы, королевские псы, флибустьеры,
Хранившие золото в темном порту,
Скитальцы арабы, искатели веры
И первые люди на первом плоту!

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостытели страны отцов,

Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
Внимая заветам седых мудрецов!

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Заветные ваши шептать имена
И вдруг догадаться, какие наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!

И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.

С деревьев стекают душистые смолы,
Узорные листья лепечут: «Скорей,
Здесь реют червонного золота пчелы,
Здесь розы краснее, чем пурпур царей!»

И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

3

Только глянет сквозь утесы
Королевский старый форт,
Как веселые матросы
Поспешат в знакомый порт.

Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Темнокожие мулатки
И гадают и поют,
И несется запах сладкий
От готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах
От заката до утра

Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Хорошо по докам порта
И слоняться, и лежать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затевать.

Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С медным обручем в носу.

А потом бледнеть от злости,
Амулет зажав в полу,
Все проигрывая в кости
На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,
Пьяных слов бессвязный лет,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет.

4

Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы,
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемого танца,
И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца.

Ни риф, ни мель ему не встретятся,
Но, знак печали и несчастий,
Огни святого Эльма светятся,
Усеяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою,
Окровавленной, но железною
В штурвал вцепляется — другою.

Как смерть, бледны его товарищи,
У всех одна и та же дума, —
Так смотрят трупы на пожарище
Невыразимо и угрюмо.

И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.

Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственной
Для смелых пенителей моря, —

О том, что где-то есть окраина —
Туда, за тропик Козерога! —
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ

С. Судейкину

Воздух над нами чист и звонок,
В житницу вол отвез зерно,
Отданный повару, пал ягненок,
В медных ковшах играет вино.

Что же тоска нам сердце гложет,
Что мы пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее.

Все мы знавали злое горе,
Бросили все заветный рай,
Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.

Только не думать! Будет счастье
В самом крикливом кабаду,
Душу исполнит нам жгучей страстью
Смуглый ребенок в чайном саду.

В розовой пене встретим даль мы,
Нас испугает медный лев;
Что нам пригрезится в ночь у пальмы?
Как опьянят нас соки дерев?

Праздником будут те недели,
Что проведем на корабле...
Ты ли не опытен в пьяном деле,
Вечно румяный мэтр Рабле?

Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащом,
Ты будешь пугалом дев китайских,
Бедра обвив зеленым плющом.

Будь капитаном! Просим! Просим!
Вместо весла вручаем жердь...
Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!

ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга;

И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна.

И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синдбад,
Вступает с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.

Купцам и прибыль и почет.
Но нет, не прибыль их влечет
В нагих степях, над бездной водной;
О тайна тайн, о птица Рок,
Не твой ли дальний островок
Им был звездой путеводной?

Ты уводила моряков
В пещеры джиннов и волков,
Хранящих древнюю обиду,
И на висячие мосты
Сквозь темно-красные кусты
На пир к Гаруну аль-Рашиду.

И я когда-то был твоим,
Я плыл, покорный пилигрим,
За жизнью благостной и мирной,
Чтоб повстречал меня Гуссейн
В садах, где розы и бассейн,
На берегу за старой Смирной.

Когда-то... Боже, как чисты
И как мучительны мечты!
Ну что же, раньте сердце, раньте, —
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте.

«ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ»

Поэма в четырех песнях

Песнь первая

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: «Все покинь!» —
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.

Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,

Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске.

Ах, в одном божественном движенье
Косным нам дано преображенье,
В нем и мы — не только отраженье,
В нем живым становится, кто жил...
О, пути земные, сетью жил,
Розой вен вас Бог расположил!

И струится, и поет по венам
Радостно бушующая кровь;
Нет конца обетам и изменам,
Нет конца веселым переменам,
И отсталых подгоняют вновь
Плетью боли Голод и Любовь.

Дикий зверь бежит из пущей в пущи,
Краб ползет на берег при луне,
И блуждает ястреб в вышине, —
Голодом и Страстью всемогущей
Все больны, — летящий и бегущий,
Плавающий в черной глубине.

Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли;
Но всего прекрасней жажда славы,
Для нее родятся короли,
В океанах ходят корабли.

Что же, Муза, нам с тобою мало,
Хоть нежны мы, быть всегда вдвоем!
Скорбь о высшем в голосе твоём:
Хочешь, мы с тобою уплывем
В страны нарда, золота, коралла
В первой каравелле Адмирала?

Видишь? город... веянье знамен...
Светит солнце, яркое, как в детстве,
С колоколен раздается звон,

Провозвестник радости, не бедствий,
И над портом, словно тяжкий стон,
Слышен гул восторга и приветствий.

Где ж Колумб? Прохожий, укажи!—
«В келье разбирает чертежи
С нашим старым приором Хуаном;
В этих прежних картах столько лжи,
А шутить не должно с океаном
Даже самым смелым капитанам».

Сыплется в узорное окно
Золото и пурпур повечерий,
Словно в зачарованной пещере,
Сон и явь сливаются в одно,
Время тихо, как веретено
Феи-сказки дедовских поверий.

В дорогой кольчуге Христофор,
Старый приор в праздничном убранстве,
А за ними поднимает взор
Та, чей дух — крылатый метеор,
Та, чей мир в святом непостоянстве,
Чье названье — Муза Дальних Странствий.

Странны и горды обрывки фраз:
«Путь на юг? Там был уже Диас!» ...
— Да, но кто слышал его рассказ?.. —
«...У страны Великого Могола
Острова» ... — Но где же? Море голо.
Путь на юг... — «Сеньор! А Марко Поло?»

Вот взвился над старой башней флаг,
Постучали в дверь — условный знак, —
Но друзья не слышат. В жарком споре —
Что для них отлив, растущий в море!..
Столько не разбросано бумаг,
Столько не досказано историй!

Лишь когда в сады спустилась мгла,
Стало тихо и прохладно стало,
Муза тайный долг свой угадала,
Подошла и властно адмирала,

Как ребенка, к славе увела
От его рабочего стола.

Песнь вторая

Двадцать дней, как плыли каравеллы,
Встречных волн проламывая грудь;
Двадцать дней, как компасные стрелы
Вместо карт указывали путь
И как самый бодрый, самый смелый
Без тревожных снов не мог уснуть.

И никто на корабле, бегущем
К дивным странам, заповедным кущам,
Не дерзал подумать о грядущем;
В мыслях было пусто и темно;
Хмуρο измеряли лотом дно,
Парусов чинили полотно.

Астрологи в вечер их отплытья
Высчитали звездные события,
Их слова гласили: «Все обман».
Ветер слева вспенил океан,
И пугали ужасом наитья
Темные пророчества гитан.

И напрасно с кафедры прелаты
Столько обещали им наград,
Обещали рыцарские латы,
Царства обещали вместо платы,
И про золотой индийский сад
Столько станц гремело и баллад...

Сколько их в былом! А в настоящем —
Смутное предчувствие беды,
Вместо песен тяжкие труды
И под вечер — призраком горящим,
Злобно ждущим и жестоко мстящим —
Солнце в бездне огненной воды.

Хозе помешался и сначала
С топором пошел на адмирала,

А потом забился в дальний трюм
И рыдал... Команда не внимала,
И несчастный помутневший ум
Был один во власти страшных дум.

По ночам садились на канаты
И шептались — а хотелось выть:
«Если долго вслед за солнцем плыть,
То беды кровавой не избыть:
Солнце в бездне моется проклятой,
Солнцу ненавистен соглядатай!»

Но Колумб забыл бунтовщиков,
Он молчит о лени их и пьянстве;
Целый день на мостике готов,
Как влюбленный, грезить о пространстве;
В шуме волн он слышит сладкий зов,
Уверенья Музы Дальних Странствий.

И пред ним смирились моряки:
Так над кручей злобные быки
Топчутся, их гонит пастырь горный,
В их сердцах отчаянье тоски,
В их рогах гнездится ужас черный,
Взор свиреп... И все ж они покорны!

Но не в город и не под копые
Смуглым и жестоким пикадорам
Адмирал холодным гонит взором
Стадо оробелое свое,
А туда, в иное бытие,
К новым, лучшим травам и озерам.

Если светел мудрый астролог,
Увидал безвестную комету;
Если, новый отыскав цветок,
Мальчик под собой не чует ног;
Если выше счастья нет поэту,
Чем придать нежданный блеск сонету;

Если как подарок нам дана
Мыслей неоткрытых глубина,
Своего не знающая дна,

Старше солнц и вечно молодая...
Если смертный видит отсвет рая,
Только неустанно открывая, —

То Колумб светлее, чем жених
На пороге радостей ночных,
Чудо он духовным видит оком,
Целый мир, неведомый пророкам,
Что залег в пучинах голубых,
Там, где запад сходится с востоком.

Эти воды Богом прокляты!
Этим страшным рифам нет названья!
Но навстречу жадного мечтанья
Уж плывут, плывут, как обещаья,
В море ветви, травы и цветы,
В небе птицы странной красоты.

Песнь третья

— Берег, берег!.. — И чинивший знамя
Замер, прикусив зубами нить,
А державший голову руками
Сразу не посмел их отпустить.
Вольный ветер веял парусами,
Каравеллы продолжали плыть.

Кто он был, тот первый, светлоокый,
Что, завидев с палубы высокой
В диком море остров одинокий,
Закричал, как коршуны кричат?
Умный кормщик, рыцарь иль пират,
Ныне он Колумбу — младший брат!

Что один исчислил по таблицам,
Чертежам и выцветшим страницам,
Ночью угадал по вещим снам, —
То увидел в яркий полдень сам
Тот, другой, подобный зорким птицам,
Только птицам, Муза, им и нам.

Словно дети, прыгают матросы,
Я так счастлив... нет, я не могу...

Вон журавль смешной и длинноносый
Полетел на белые утесы,
В синем небе описав дугу,
Вот и берег... мы на берегу.

Престарелый, в полном облаченье,
Патер совершил богослуженье,
Он молил: «О Боже, не покинь
Грешных нас...» — кругом звучало пенье,
Медленная, медная латынь
Породнилась с шумами пустынь.

И казалось, эти же поляны
Нам не раз мерещились в бреду...
Так же на змеистые лианы
С криками взбегали обезьяны;
Цвел волчец; как грешники в аду,
Звонко верещали какаду...

Так же сладко лился в наши груди
Аромат невиданных цветов,
Каждый шаг был так же странно нов,
Те же выходили из кустов,
Улыбаясь и крича о чуде,
Красные, как медь, нагие люди.

Ах, не грезил с нами лишь один,
Лишь один хранил в душе тревогу,
Хоть сперва, склонясь, как паладин
Набожный, и он молился Богу,
Хоть теперь целует прах долин,
Стебли трав и пыльную дорогу.

Как у всех матросов, грудь нага,
В левом ухе медная серьга
И на смуглой шее нить коралла,
Но уста (их тайна так строга),
Взор, где мысль гореть не перестала,
Выдали нам, Муза, адмирала.

Он печален, этот человек,
По морю прошедший как по суше,
Словно шашки,двигающий души

От родных селений, мирных нег
 К диким устьям безымянных рек...
 Что он шепчет!.. Муза, слушай, слушай!

«Мой высокий подвиг я свершил,
 Но томится дух, как в темном склепе.
 О Великий Боже, Боже Сил,
 Если я награду заслужил,
 Вместо славы и великолепий,
 Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!

Крепкий мех так горд своим вином,
 Но когда вина не стало в нем,
 Пусть хозяин бросит жалкий ком!
 Раковина я, но без жемчужин,
 Я поток, который был запружен, —
 Спущенный, теперь уже не нужен».

Да! Пробудит в черни площадной
 Только смех бессмысленно-тупой,
 Злость в монахах, ненависть в дворянстве
 Гений, обвиненный в шарлатанстве!
 Как любовник для игры иной,
 Он покинут Музой Дальних Странствий...

Я молчал, закрыв глаза плащом.
 Как струна, натянутая туго,
 Сердце билось быстро и упруго,
 Как сквозь сон я слышал, что подруга
 Мне шепнула: «Не скорби о том,
 Кто Колумбом назван... Отойдем!»

Песнь четвертая

Мы взошли по горному карнизу
 Так высоко за гнездом орла;
 Вечер сбросил золотую ризу,
 И она на западе легла;
 В небе загорались звезды; снизу
 Наплывала голубая мгла.

Муза, ты дрожишь, как в лихорадке,
 Взор горит и кудри в беспорядке.

Что с тобой? Разгаданы загадки,
Хитрую распутали мы сеть...
Успокойся, Муза, чтобы петь,
Нужен голос ясный, словно медь!

Голосом глубоким и кристальным
Славу тополям пирамидальным
Мы с тобою ныне воспоем,
Славу рекам в блеске золотом,
Розовым деревьям, и миндальным
И всему, что видим мы вдвоем.

Новый мир, как девушка, невинный!..
Кто ж прольет девическую кровь?
Кто визжаньем пил, как чарой винной,
Одурманит лес еще пустынный,
Острым плугом взрежет эту новь
И заплатит мукой за любовь?

Знаю! Сердце девушек бесстрастно,
Как они, не мучить никому:
Огонек болот отравит тьму,
Отуманит душу шум неясный,
Подкрадется ягуар опасный,
Победитель, к логу твоему.

Крик... движенье... и потонет в бездне
Той, что ночи Севера беззвездней,
Слишком много увидавший взгляд.
Здесь любовь несет с собой болезни,
Здесь растенья кроют сладкий яд,
И о крови боги говорят.

Но напрасно! Воли человеческой
Не сдержать ни ядам, ни богам!
В глубине пещер, по берегам
Тихих рек, по чащам и по рвам,
Всюду, всюду, близко и далече,
Запоют, пройдут людские речи.

Поднимайся, занавес времен
И развейся, сумрачная чара!
Каждый павший будет отомщен

Силою возвратного удара,
Зов свобод здесь кинет Вашингтон
И пройдет, как молния, Пизарро.

Девушка, игравшая судьбой,
Сделается нежною женой,
Милым сотоварищем в работе...
Водопады с пеной ледяной,
Островки, забытые в болоте,
Вы для жизни духа оживете!

Друг за другом встанут города,
Там забрызжет детский смех, и деды
Заведут спокойные беседы,
Вспоминая старые года...
Но безумцы, те уйдут туда,
Где еще не веял стяг победы.

Потому что Бог их — Бог измен!
Путник, Он идет над звездным севом,
Он всечасно хочет перемен;
Белизна нагих его колен,
Вздых, звучащий солнечным напевом,
Снятся только ангелам и девам.

Станный Бог, не ведающий зла,
Честный, как летящая стрела,
Чуждая и круга, и угла,
Стройный Бог с душою пьяной снами,
Легкими и быстрыми шагами
Вдаль и вдаль идущий над мирами!

Голос твой, о Муза, точно рог, —
Он сродни тебе, веселый Бог!
Эти губы алого коралла
Ты когда-то в небе целовала,
Ты уже касалась этих ног
С их отливом бледного опала.

Заповедь его нам назови,
Дай нам знак, что ты пришла оттуда!
Каждый вестник был досель Иуда.
Мы устали. Мы так жаждем чуда.

Мы так жаждем истинной любви...
— Будь как Бог: иди, лети, плыви!

ОСТРОВ ЛЮБВИ

Вы, что поплывете
К острову Любви,
Я для вас в заботе,
Вам стихи мои.

От Европы ль умной,
Джентльмена снов;
Африки ль безумной,
Страстной, но без слов;

Иль от двух Америк,
Знавших в жизни толк;
Азии ль, где берег —
Золото и шелк;

Азии, иль дале
От лесов густых
Девственных Австралий,
Диких и простых;

Все вы в лад ударьте
Веслами струи,
Следуя по карте
К острову Любви.

Вот и челн ваш гений
К берегу прибил,
Где соображений
Встретите вы ил.

Вы, едва на сушу,
Книга встретит вас,
И расскажет душу
В триста первый раз.

Чтоб пройти болота
Скучной болтовни,

Вам нужна работа,
Нужны дни и дни.

Скромности пустыня.
— Место палачу!—
Все твердит богиня,
Как лягушка в тине:
«Нет» и «Не хочу».

Но стыдливость чащей
Успокоит вас,
Вам звучит все слаще:
«Милый, не сейчас!»

Озеро томлений —
Счастье и богам:
Все открыты тени
Взорам и губам.

Но на остров Неги,
Тот, что впереди,
Дерзкие набеги
Не производит!

Берегись истерик,
Серной кислоты,
Если у Америк
Не скитался ты.

Если ж знаешь цену
Ты любви своей —
Эросу в замену
Выйдет Гименей.

ПАЛОМНИК

Ахмет-Оглы берет свою клюку
И покидает город многолюдный.
Вот он идет по рыхлому песку,
Его движенья медленны и трудны.
— Ахмет, Ахмет, тебе ли, старику,
Пускаться в путь неведомый и чудный?

Твое добро враги возьмут сполна,
Тебе изменит глупая жена. —

«Я этой ночью слышал зов Аллаха,
Аллах сказал мне:— Встань, Ахмет-Оглы,
Забудь про все, иди, не зная страха,
Иди, провозглашая мне хвалы;
Где рыжий вихрь вздымает горы праха,
Где носятся хохлатые орлы,
Где лошадь ржет над трупом бедуина,
Туда иди: там Мекка, там Медина».

— Ахмет-Оглы, ты лжешь! Один пророк
Внимал Аллаху, бледный, вдохновенный,
Посол от мира горя и тревог
Он улетал к обители нетленной,
Но он был юн, прекрасен и высок,
И конь его был конь благословенный,
А ты... мы не слышали о после
Плешивом, на задерганном осле. —

Не слушает, упрям старик суровый,
Идет, кряхтит, и злость в его смешке,
На нем халат изодранный, а новый,
Лиловый, шитый золотом, в мешке;
Под мышкой посох кованый, дубовый,
Удобный даже старческой руке,
Чалма лежит, как требуют шииты,
И десять лир в сандалии зашиты.

Вчера шакалы выли под горой
И чья-то тень текла неуловимо,
Сегодня усмехались меж собой
Три оборванца, проходивших мимо.
Но ни шайтан, ни вор, ни зверь лесной
Смиренного не тронут пилигрима,
И в ночь его, должно быть от луны,
Слетают удивительные сны.

И каждый вечер кажется, что вскоре
Окончится терновник и волчцы,
Как в золотом Багдаде, как в Бассоре,
Поднимутся узорные дворцы,

И Красное пылающее море
 Пред ним свои расстелет багрецы,
 Волшебство синих и зеленых мелей...
 И так идет неделя за неделей.

Он очень стар, Ахмет, а путь суров,
 Пронзительны полночные туманы,
 Он скоро упадет без сил и слов,
 Закутавшись, дрожа, в халат свой рваный,
 В одном из тех восточных городов,
 Где вечерами шепчутся платаны,
 Пока чернобородый муэдзин
 Поет стихи про гурию долин.

Он упадет, но дух его бессонный
 Аллах недаром дивно окрылил,
 Его, как мальчик страстный и влюбленный,
 В свои объятия примет Азраил
 И поведет тропую, разрешенной
 Для демонов, пророков и светил.
 Все, что свершить возможно человеку,
 Он совершил — и он увидит Мекку.

РОДОС

*Памяти
 М. А. Кузьминой-Караваевой*

На полях опаленных Родоса
 Камни стен и в цвету тополя
 Видит зоркое сердце матроса
 В тихий вечер с кормы корабля.

Там был рыцарский орден: соборы,
 Цитадель, бастионы, мосты,
 И на людях простые уборы,
 Но на них золотые кресты.

Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
 Все равны перед взором Отца,
 И не дать покорить самовластью
 Посвященные небу сердца!

Но в долинах старинных поместий,
Посреди кипарисов и роз,
Говорить о Небесной Невесте,
Охраняющей нежный Родос!

Наше бремя — тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, — только наши гроба.

Нам брести в смертоносных равнинах,
Чтоб узнать, где родилась река,
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзять облака;

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик, —
Высыхать в глубине кабинета
Перед пыльными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос.

Но быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде:
«Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие — где?»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я из дому вышел, когда все спали,
Мой спутник скрывался у рва в кустах,
Наверно, наутро меня искали,
Но было уж поздно, мы шли в полях.

Мой спутник был желтый, худой, раскосый,
О, как я безумно его любил,
Под пестрой хламидой он прятал косу,
Глазами гадюки смотрел и ныл.

О старом, о странном, о безбольном,
О вечном слагалось его нытье,
Звучало мне звоном колокольным,
Ввергало в истому, в забытье.

Мы видели горы, лес и воды,
Мы спали в кибитках чужих равнин,
Порою казалось — идем мы годы,
Казалось порою — лишь день один.

Когда ж мы достигли стены Китая,
Мой спутник сказал мне: «Теперь прощай.
Нам разны дороги: твоя — святая,
А мне, мне сеять мой рис и чай».

Мой путь протянулся светло и прямо,
И мне из беседок цветных у вод
Прохладных кричали: «Зайди к нам, лама!»
Но я улыбался и шел вперед.

На белом пригорке, над полем чайным,
У пагоды ветхой сидел Будда,
Пред ним я склонился с восторгом тайным,
И было сладко, как никогда.

Так тихо, так тихо над миром дольным,
С глазами гадюки, он пел и пел
О старом, о странном, о безбольном,
О вечном, и воздух вокруг светлел.

СНОВА МОРЕ

Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого-то и солнце дышит,
А земля говорит, поет.

Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый

И помешанный на добре,
Что не слышит песен Улисса,
Призывающего к игре?

Ах, к игре с трезубцем Нептуна,
С косами диких nereид
В час, когда буруны, как струны,
Звонко лопаются и дрожит
Пена в них или груди юной,
Самой нежной из Афродит.

Вот и я выхожу из дома
Повстречаться с иной судьбой,
Целый мир, чужой и знакомый,
Породниться готов со мной:
Берегов изгибы, изломы,
И вода, и ветер морской.

Солнце духа, ах, беззакатно,
Не земле его побороть,
Никогда не вернусь обратно,
Усмирю усталую плоть,
Если Лето благоприятно,
Если любит меня Господь.

АФРИКАНСКАЯ НОЧЬ

Полночь сошла, непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит.

Завтра мы встретимся и узнаем,
Кому быть властителем этих мест;
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест.

Вновь обхожу я бугры и ямы,
Здесь будут вещи, мулы тут;
В этой унылой стране Сидамо
Даже деревья не растут.

Весело думать: если мы одолеем, —
 Многих уже одолели мы, —
 Снова дорога желтым змеем
 Будет вести с холмов на холмы.

Если же завтра волны Уэби
 В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
 Мертвый, увижу, как в бледном небе
 С огненным черным борется бог.

*Восточная Африка
 1913*

НАСТУПЛЕНИЕ

Та страна, что могла бы быть раем,
 Стала логовищем огня.
 Мы четвертый день наступаем,
 Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
 В этот страшный и светлый час,
 Оттого, что Господне слово
 Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
 Ослепительны и легки,
 Надо мною рвутся шрапнели,
 Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
 Это медь ударяет в медь,
 Я, носитель мысли великой,
 Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
 Или воды гневных морей,
 Золотое сердце России
 Мерно бьется в груди моей.

О, как белы крылья Победы!
 Как безумны ее глаза!

О, как мудры ее беседы,
Очистительная гроза!

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

ПРАПАМЯТЬ

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.

Бушует пламя, трубят трубы,
И кони рыжие летят,
Потом волнующие губы
О счастье, кажется, твердят.

И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седую гривой машет море,
Встают пустыни, города.

Когда же, наконец, восставши
От сна, я буду снова я, —
Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья?

II

СВИДАНЬЕ

Сегодня ты придешь ко мне,
Сегодня я пойму,
Зачем так странно при луне
Остаться одному.

Ты остановишься, бледна,
И тихо сбросишь плащ,
Не так ли полная луна
Встает из темных чащ?

И, околдованный луной,
Окованный тобой,
Я буду счастлив тишиной,
И мраком, и судьбой.

Так зверь безрадостных лесов,
Почувший весну,
Внимает шороху часов,
И смотрит на луну,

И тихо крадется в овраг
Будить ночные сны,
И согласует легкий шаг
С движением луны.

Как он, и я хочу молчать,
Смотреть и изнемочь,
Храня торжественно печать,
Твою печать, о Ночь!

И будет много светлых лун
Во мне и вокруг меня,
И бледный берег древних дюн
Откроется, маня.

И донесет из темноты
Зеленый океан
Кораллы, жемчуг и цветы,
Дары далеких стран.

И вздохи тысячи существ,
Исчезнувших давно,
И темный сон немых веществ,
И звездное вино.

И вдруг простершейся в пыли
Душе откроет твердь
Раздумья вещие земли,
Рождение и смерть.

...Уйдешь, и буду я внимать
 Последней песне лун,
 Смотреть, как день встает опять
 Над гладью бледных дюн.

ЖИЗНЬ

С тусклым взором, с мертвым сердцем в море броситься
 со скалы,
 В час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря,
 Иль в темнице стать свободным, как свободны
 одни орлы,
 Иль найти покой нежданный в дымной хижине дикаря!

Да, я понял. Символ жизни — не поэт, что творит слова,
 И не воин, с твердым сердцем, не работник, ведущий
 плуг, —
 С иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре льва,
 Забывающий игрушки между белых усталых рук.

БОЛЬНОЙ

В моем бреду одна меня томит
 Каких-то острых линий бесконечность,
 И непрерывно колокол звонит,
 Как бой часов отзванивал бы вечность.

Мне кажется, что после смерти так
 С мучительной надеждой воскресенья
 Глаза вперяются в окрестный мрак,
 Ища давно знакомые виденья.

Но в океане перевозданной мглы
 Нет голосов, и нет травы зеленой,
 А только кубы, ромбы, да углы,
 Да злые, нескончаемые звоны.

О, хоть бы сон настиг меня скорей!
 Уйти бы, как на праздник примиренья,
 На желтые пески седых морей
 Считать большие, бурые камня.

РАЗГОВОР

Георгию Иванову

Когда зеленый луч, последний на закате,
Блеснет и скроется, мы не узнаем где,
Тогда встает душа и бродит, как лунатик,
В садах заброшенных, в безлюдье площадей.

Весь мир теперь ее, ни ангелам, ни птицам
Не позавидует она в тиши аллей,
А тело тащится вослед и тайно злится,
Угрюмо жалуясь на боль свою земле.

«Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливом,
Где над людской толпой потрескивает газ,
И слушать, светлое потягивая пиво,
Как женщина поет «La p'tite Tonkinoise»¹.

Уж карты весело порхают над столами,
Целят скучающих, мира их с бытием.
Ты знаешь, я люблю горячими руками
Касаться золота, когда оно мое.

Подумай, каково мне с этой бесноватой,
Воображаемым внимая голосам,
Смотреть на мелочь звезд; ведь очень небогато
И просто разубрал Всевышний небеса».

Земля по временам сочувственно вздыхает,
И пахнет смолами, и пылью, и травой,
И нудно думает, но все-таки не знает,
Как усмирить души мятежной торжество.

«Вернись в меня, дитя, стань снова грязным илом,
Там, в глубине болот, холодным, скользким дном.
Ты можешь выбирать между Невой и Нилом
Отдохновению благоприятный дом.

Пускай ушей и глаз навек сомкнутся двери
И пусть истлеет мозг, предавшийся врагу,

¹ «Маленькая тонкинка» (фр.).

А после станешь ты растением или зверем...
Знай, иначе помочь тебе я не могу».

И все идет душа горда своим уделом,
К несуществующим, но золотым полям,
И все спешит за ней, изнемогая, тело,
И пахнет тлением заманчиво земля.

ДЕРЕВЬЯ

Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни.
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы — на чужбине, а они — в отчизне.

Глубокой осенью в полях пустых
Закаты медно-красные, восходы
Янтарные окраске учат их, —
Свободные, зеленые народы.

Есть Моисеи посреди дубов,
Марии между пальм... Их души, верно,
Друг к другу посылают тихий зов
С водой, струящейся во тьме безмерной.

И в глубине земли, точка алмаз,
Дробя гранит, ключи лепечут скоро,
Ключи поют, кричат — где сломан вяз,
Где листьями оделась сикомора.

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я,
Безмолвно поднимаясь в вышину
Неисчислимые тысячелетья!

ОСЕНЬ

Оранжево-красное небо...
Порывистый ветер качает
Кровавую гроздь рябины.
Догоняю бежавшую лошадь

Мимо стекол оранжереи,
Решетки старого парка
И лебединого пруда.
Косматая, рыжая, рядом
Несется моя собака,
Которая мне милее
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.
Стук копыт участился,
Пыль все выше.
Трудно преследовать лошадь
Чистой арабской крови.
Придется присесть, пожалуй,
Задохнувшись, на камень
Широкий и плоский,
И удивляться тупо
Оранжево-красному небу,
И тупо слушать
Кричащий пронзительно ветер.

ПРИРОДА

Так вот и вся она, природа,
Которой дух не признает,
Вот луг, где сладкий запах меда
Смешался с запахом болот;

Да ветра дикая заплачка,
Как отдаленный вой волков;
Да над сосной курчавой скачка
Каких-то пегих облаков.

Я вижу тени и обличья,
Я вижу, гневом обуян,
Лишь скудное многообразие
Творцом просыпанных семян.

Земля, к чему шутить со мною,
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездой,
Огнем пронизанной насквозь!

НОРВЕЖСКИЕ ГОРЫ

Я ничего не понимаю, горы:
Ваш гимн поет кощунство иль псалом,
И вы, смотрясь в холодные озера,
Молитвой заняты иль колдовством?

Здесь с криками чудовищных глумлений,
Как сатана на огненном коне.
Пер Гюнт летал на бешеном олене
По самой неприступной крутизне.

И, царств земных непризнанный наследник,
Единый побежденный до конца,
Не здесь ли Бранд, суровый проповедник,
Сдвигал лавины именем Творца?

А вечный снег и синяя, как чаша
Сапфирная, сокровищница льда!
Страшна земля, такая же, как наша,
Но не рождающая никогда.

И дивны эти неземные лица,
Чьи кудри — снег, чьи очи — дыры в ад,
С чьих щек, изрытых бурями, струится,
Как борода седая, водопад.

ЕСТЕСТВО

Я не печалюсь, что с природы
Покров, ее скрывавший, снят,
Что древний лес, седые воды
Не кроют фавнов и наяд.

Не человеческою речью
Гудят пустынные ветра,
И не усталость человеческою
Нам возвещают вечера.

Нет, в этих медленных, инертных
Преображеньях естества —
Залог бессмертия для смертных,
Первоначальные слова.

Поэт, лишь ты единый в силе
Постичь ужасный тот язык,
Которым сфинксы говорили
В кругу драконовых владык.

Стань ныне вещью, Богом бывши,
И слово вещи возгласи,
Чтоб шар земной, тебя родивший,
Вдруг дрогнул на своей оси.

ДУША И ТЕЛО

I

Над городом плывет ночная тишь,
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты все-таки молчишь,
Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
«Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человеческом теле?»

Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью,
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.

Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластно,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.

И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное, презрительное горе».

II

Закат из золотого стал как медь,
Покрылись облака зеленой ржою,

И телу я сказал тогда: «Ответь
На все, провозглашенное душою».

И тело мне ответило мое,
Простое тело, но с горячей кровью:
«Не знаю я, что значит бытие,
Хотя и знаю, что зовут любовью.

Люблю в соленой плескаться волне,
Прислушиваться к крикам ястребиным,
Люблю на необъезженном коне
Нестись по дугу, пахнущему тмином.

И женщину люблю... когда глаза
Ее потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.

Но я за все, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней».

III

Когда же слово Бога с высоты
Большой Медведицею заблестело,
С вопросом: «Кто же, вопрошатель, ты?» —
Душа предстала предо мной и тело.

На них я взоры медленно вознес
И милостиво дерзостным ответил:
«Скажите мне, ужель разумен пес,
Который воет, если месяц светел?»

Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье —
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?

Меня, кто, словно древо Игдрозиль,
Пророс главою семью семь вселенных

И для очей которого как пыль
Поля земные и поля блаженных?

Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозвание;
А вы, вы только слабый ответ сна,
Бегущего на дне его сознанья!»

ПОЭМА НАЧАЛА

КНИГА ПЕРВАЯ

Дракон

Песнь первая

1

Из-за свежих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И бежали лани тумана
Под скалистые берега.
Под скалистыми берегами
В многошумной сырой тени
Серебристыми жемчугами
Оседали на мох они.
Красный бык изменяет лица:
Вот широко крылья простер,
И парит огромная птица,
Пожирающая простор.
Вот к дверям голубой кумирни,
Ключ держа от тайн и чудес,
Он восходит, стрелок и лирник,
По открытой тропе небес.
Ветры, дуйте, чтоб волны пели,
Чтоб в лесах гудели стволы,
Войте, ветры, в трубы ущелий,
Возглашая ему хвалы.

2

Освежив горячее тело
Благовонной ночью тьмой,

Вновь берется земля за дело,
Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски нежные стебли трав
И багряным, дивно высоким,
Благородное сердце льва.
И, всегда желая иного,
На голодный жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый и красный сок.
С сотворенья мира стократы
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой —
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

3

Океан косматый и сонный,
Отыскав надежный упор,
Тупо терся губой зеленой
О подножие Лунных Гор.
И над ним стеною отвесной
Разбежалась и замерла,
Упираясь в купол небесный,
Аметистовая скала.
До глубин ночами и днями
Аметист светился и цвел
Многоцветными огоньками,
Точно роем веселых пчел.
Потому что свивал там кольца,
Вековой досыпая сон,
Старше вод и светлее солнца
Золоточешуйный дракон.
И подобной чаши священной
Для вина первозданных сил
Не носило тело вселенной
И Творец в мечтах не носил.

4

Пробудился дракон и поднял
Янтари грозových зрачков,
Первый раз он взглянул сегодня
После сна десяти веков.
И ему не казалось светлым
Солнце, юное для людей,
Был как будто засыпан пеплом
Жар пылавших в море огней.
Но иная радость глубоко
В сердце зрела, как сладкий плод,
Он почуял веянье рока,
Милой смерти неслышный лет.
Говор моря и ветер южный
Заводили песню одну:
— Ты простишься с землей ненужной
И уйдешь домой в тишину.
О твое усталое тело
Притупила жизнь острие,
Губы смерти нежны, и бело
Молодое лицо ее.

5

А с востока, из мглы белесой,
Где в лесу змеилась тропа,
Превышая вершину леса
Ярко-красной повязкой лба,
Пальм стройней и крепче платанов,
Неуклонней разлива рек,
В одеяньях серебротканых
Шел неведомый человек.
Шел один, спокойно и строго
Опуская глаза, как тот,
Кто давно знакомой дорогой
Много дней и ночей идет.
И казалось, земля бежала
Под его стопы, как вода,
Смоляною доской лежала
На груди его борода.
Точно высечен из гранита,
Лик был светел, но взгляд тяжел, —

Жрец Лемурии, Морадита,
К золотому дракону шел.

6

Было страшно, точно без брони
Встретить меч, разящий в упор,
Увидать неожиданно драконий
И холодный и скользкий взор.
Помнил жрец, что десять столетий
Каждый бывший здесь человек
Видел лишь багровые сети
Крокодилых сомкнутых век.
Но молчал он и черной пикой
(У мудрейших водилось так)
На песке пред своим владыкой
Начертал таинственный знак:
Точно жезл, во прахе лежавший,
Символ смертного естества,
И отвесный, обозначавший
Нисхождение божества,
И короткий, меж них сокрытый,
Точно связь этих двух миров...
Не хотел открыть Морадита
Зверю тайны чудесной слов.

7

И дракон прочел, наклоня
Взоры к смертному в первый раз:
— Есть, владыка, нить золотая,
Что связует тебя и нас.
Много лет я провел во мраке,
Постигая смысл бытия,
Видишь, знаю святыя знаки,
Что хранит твоя чешуя.
Отблеск их от солнца до меди
Изучил я ночью и днем,
Я следил, как во сне ты бредил,
Переменным горя огнем.
И я знаю, что заповедней
Этих сфер, и крестов, и чаш,
Пробудившись в свой день последний,
Нам ты знанье свое отдашь.

Зарожденье, преображенье
И ужасный конец миров
Ты за ревностное служенье
От своих не скроешь жрецов.

8

Засверкали в ответ чешуи
На взнесенной мостом спине,
Как сверкают речные струи
При склоняющейся луне.
И, кусая губы сердито,
Подавляя потоки слов,
Стал читать на них Морадита
Сочетанье черт и крестов:
— Разве в мире сильных не стало,
Что тебе я знанье отдам?
Я вручу его розе алой,
Водопадам и облакам;
Я вручу его кряжам горным,
Стражам косного бытия,
Семизвездию в небе черном
Изогнувшемуся, как я;
Или ветру, сыну Удачи,
Что свою прославляет мать,
Но не твари с кровью горячей,
Не умеющею сверкать!

9

Только сухо хрустнула пика,
Переломленная жрецом,
Только взоры сверкнули дико
Над гранитным его лицом
И уставились непреклонно
В муть уже помутившихся глаз
Умирающего дракона,
Повелителя древних рас.
Человечья теснила сила
Нестерпимую ей судьбу,
Синей кровью большая жила
Налилась на открытом лбу,

Приоткрылись губы, и вольно
Прокатился по берегам
Голос яркий, густой и полный,
Как полуденный запах пальм.
Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось в первый раз от века
Запрещенное слово: Ом!

10

Солнце вспыхнуло красным жаром
И надтреснуло. Метеор
Оторвался и легким паром
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий
Где-нибудь за Млечным Путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове Ом.
Океан взревел и, взметенный,
Отступил горой серебра, —
Так отходит зверь, обожженный
Головней людского костра.
Ветви лапчатые платанов,
Распластавшись, легли в песок,
Никакой напор ураганов
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной,
Тонким воздухом и огнем,
Сотрясая тело вселенной,
Заповедное слово Ом.

11

Содрогнулся дракон и снова
На пришельца направил взор,
Смерть боролась в нем силу слова,
Незнакомую до сих пор.
Смерть, надежный его союзник,
Наплывала издалека,
Как меха исполинской кузни,
Раздувались его бока.

Когти лап в предсмертном томленьи
Бороздили поверхность скал,
Но без голоса, без движенья
Нес он муку свою и ждал.
Белый холод последней боли
Плавал по сердцу — и вот-вот
От сжигающей сердце воли
Человеческой он уйдет.
Понял жрец, что страшна потеря
И что смерти не обмануть,
Поднял правую лапу зверя
И себе положил на грудь.

12

Капли крови из свежей раны
Потекли, красны и теплы,
Как ключи на заре багряной
Из глубин меловой скалы.
Дивной перевязью священной
Заалели ее струи
На мерцании драгоценной
Золотеющей чешуи.
Точно солнце в рассветном небе,
Наливался жизнью дракон,
Крылья рвались по ветру, гребень
Петушиный встал, обогрен.
И когда, без слов, без движенья,
Взором жрец его вновь спросил
О рожденье, преображенье
И конце первозданных сил,
Переливы чешуй далече
Озарили уступы круч,
Точно голос нечеловечий,
Превращенный из звука в луч.

Песнь вторая

1

Мир когда-то был легок, пресен,
Бездыханен и недвижим
И своих трагических песен
Не водило время над ним.

А уже в этой тьме суровой
Трепетала первая мысль,
И от мысли родилось слово,
Предводитель священных числ.

В слове скрытое материнство
Отыскало свои пути:
— Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.

Ибо в мире блаженно-новом,
Как сверканье и как тепло,
Было между числом и словом
И не слово и не число.

Светозарное, плотью стало,
Звуком, запахом и лучом,
И живая жизнь захлестала
Золотым и буйным ключом.

2

Скалясь красными пропастями,
Раскаленны, страшны, пестры,
За клокочущими мирами
Проносились с гулом миры.

Налетали, сшибались, выли
И стремительно мчались вниз,
И столбы золотистой пыли
Над ловцом и жертвой вились.

В озаренной светом бездне,
Затаил перевозданный гнев,
Плыл на каждой звезде наездник —
Лебедь, Дева, Телец и Лев.

А на этой навстречу звездам,
Огрызаясь на звездный звон,
Золотобагряным наростом
Поднимался дивный дракон.

Лапы мир оплели, как нити,
И когда он вздыхал, дремля,

По распатанной им орбите
Вверх и вниз металась земля.

3

Мчалось время; прочней, телесней
Застывало оно везде.
Дева стала лучом и песней
На далекой своей звезде.

Лебедь стал сияющей льдиной,
А дракон — земною корой,
Разметавшеюся равниной,
Притаившеюся горой.

Умягчилось сердце природы,
Огонь в глубинах земли исчез,
Побежали звонкие воды,
Отражая огни небес.

Но из самых темных затонов,
Из гниющих в воде корней,
Появилось племя драконов,
Крокодилов и черных змей.

Выползали слепые груды
И давили с хрустом других,
Кровяные рвались сосуды
От мычанья и рева их.

III

БАЛЛАДА

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.

Кони фыркали, били копытом, маня
Понестись на широком пространстве земном,

И я верил, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.

Много звездных ночей, много огненных дней
Я скитался, не зная скитанью конца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.

Там, на высях сознания, — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом.
Я на выси сознания направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.

В тихом голосе слышались звоны струны,
В странном взоре сливался с ответом вопрос,
И я отдал кольцо этой деве луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было названье ему.

КРЕСТ

Я долго проигрывал карту за картой,
В горящих глазах собиралась тень...
Луна выплывала безмолвной Астартой,
Но вот побледнела, предчувствуя день.

В холодном безумьи, в тревожном азарте
Я чувствовал, будто игра эта — сон.
«Весь банк, — закричал, — покрываю я в карте!»
И карта убита, и я побежден.

Я вышел на воздух... Холодные тени
Дарили забвенье и звали во храм,
Манили на грани нездешних мгновений,
И крест золотой прижимал я к устам.

Стать чище, светлей многозвездного неба,
Твой посох принять, о сестра нищета,

Бродя по дорогам выпрашивать хлеба,
Людей заклиная святыней креста!

И, может быть, в тихой березовой роще
С горячей молитвой упасть на песок,
Чтоб снова подняться, Исполненным мощи...
Мой крест золотой — это счастья залог!

...Мгновенье! И в зале встревоженно-шумной
Все смолкли и дико приподнялись с мест,
Когда я вошел воспаленный, безумный,
И молча на карту поставил свой крест.

* * *

Мой старый друг, мой верный Дьявол
Пропел мне песенку одну:
— Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.

Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспенивались вновь,
Пред ним неслась белее пены
Его великая любовь.

Он слышал зов, когда он плавал:
«О, верь мне, я не обману...»
Но помни, — молвил умный Дьявол, —
Он на заре пошел ко дну.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ДЬЯВОЛА

Кто был бледный и красивый рыцарь,
Что проехал на черном коне,
И какая сказочная птица
Кружилась над ним в вышине?

И какой печальный взгляд он бросил
На мое цветное окно,
И зачем мне сделался несносен
Мир родной и знакомый давно?

И зачем мой старший брат в испуге,
При дрожащем мерцанье свечи
Вынимал из погребов кольчуги
И натачивал копыя и мечи?

И зачем сегодня в капелле
Все сходились, читали псалмы
И монахи угрюмые пели
Заклинанья против мрака и тьмы?

И спускался сумрачный астролог
С заклинательной башни в дом,
И зачем был так странно долог
Его спор с моим старым отцом?

Я не знаю, ничего не знаю,
Я еще так молода,
Но я все же плачу и рыдаю
И мечтаю всегда.

* * *

Как труп, бессилен небосклон,
Земля — как уличенный тать,
Преступно-тайных похорон
На ней зловещая печать.

Ум человеческий смущен,
В его глубинах — черный страх,
Как стая траурных ворон
На обессиленных полях.

Но где же солнце, где луна?
Где сказка — жизнь и тайна — смерть?
И неужели не пьяна
Их золотою песней твердь?

И неужели не видна
Судьба, их радостная мать,
Что пеной жгучего вина
Любила смертных опьянять?

Напрасно ловит робкий взгляд
На горизонте новых стран,
Там только ужас, только яд,
Змеею жалящий туман.

И волны глухо говорят,
Что в море бурный шквал унес
На дно к обителям наяд
Ладью, в которой плыл Христос.

* * *

Сегодня у берега нашего бросил
Свой якорь досель незнакомый корабль,
Мы видели отблески пурпурных весел,
Мы слышали смех и бряцанье сабель.

Тяжелые грузы корицы и перца,
Красивые камни и шкуры пантер,
Все, все, что ласкает надменное сердце,
На том корабле нам привез Люцифер.

Мы долго не ведали, враг это, друг ли,
Но вот капитан его в город вошел,
И черные очи горели, как угли,
И странные знаки пестрили камзол.

За ним мы спешили толпою влюбленной,
Смеялись при виде неожиданных чудес,
Но старый наш патер, святой и ученый,
Сказал нам, что это противник небес.

Что суд приближается страшный, последний,
Что надо молиться для встречи конца...
Но мы не поверили в скучные бредни
И с гневом прогнали седого глупца.

Ушел он в свой домик, заросший сиренью,
Со стаею белых своих голубей...
А мы отдалися душой наслажденью,
Веселым безумьям богатых людей.

Мы сделали гостя своим бургомистром —
Царей не бывало издавна у нас, —
Дивились движеньям, красивым и быстрым,
И молниям черных, пылающих глаз.

Мы строили башни, высоки и гулки,
Украшили город, как стены дворца,
Остался лишь бедный, в глухом переулке
Сиреневый домик седого глупца.

Он враг золотого, роскошного царства,
Средь яркого пира он горестный крик,
Он давит нам сердце, лишенный коварства,
Влюбленный в безгрешность седой бунтовщик.

Довольно печали, довольно томлений!
Омоем сердца от последних скорбей!
Сегодня пойдем мы и вырвем сирени,
Камнями и криком спугнем голубей.

ЧЕРНЫЙ ДИК

Был веселый малый Черный Дик,
Даже слишком, может быть, веселый...

Н. Г.

Бедная и маленькая наша деревушка, и вы, дети, не находите в ней ничего примечательного, но здесь в старину случилось страшное дело, от которого леденеют концы пальцев и волосы на голове встают дыбом.

Тогда мы, старики, были совсем молодыми, влюблялись, веселились и пили, как никогда не пить вам, уже потому, что между вами нет Черного Дика.

Бог знает, что это был за человек! Высокий, красивый, сильный, как бык, он легко побивал всех парней в округе, а драться не любил. Наши девушки были от него без ума и ходили за ним, как побитые собаки, хотя и знали, что ни за какие деньги не женился бы он ни на одной. Ну, конечно, он и пользовался этим, а мы, другие, ничего не смели сказать, потому что за обиду он разбивал головы, как пустые тыквы, да и товарищ он был веселый. Божился лучше королевского солдата, пил, как шкипер, побывавший в Америке, и когда плясал, дубовые половицы прыгали и посуда дребезжала по стенам.

Не одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине брюхатой из дому, и много их, покрашенных, пьяных, погибло под говор разгульных матросов в корабельных доках старого Бервича. А Черный Дик только хохотал да скалил свои белые зубы. Он всегда смеялся.

Мы, другие, до света отправлялись на рыбную ловлю, мерзли, мокли и до крови обдирали руки, вытаскивая тяжелые сети. А он спал до полудня, возился с девушками и, когда мы возвращались, встречал нас на берегу, ожидая, чтобы кто-нибудь предложил угощение. Если никто не вызывался, он сам требовал его, значительно поглядывая на свои волосатые кулаки и расправляя широкие плечи. Правда и то, что горька и уныла жизнь рыбака и что джин да богохульные, мерзкие песни были нашим единственным развлечением. Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла.

Но около того времени, о котором я хочу вам рассказать, старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе. Худой, бритый, с глазами, покрасневшими от занятий, он всюду носил за собой тяжелые книги и читал их, сурово шевеля тонкими губами. Говорят, он учился в Кембридже, и, точно, он ничем не походил на обыкновенного деревенского пастора. Женщины боялись его, потому что он говорил только о конце света, Страшном суде и адском мучении, ожидающем еретиков, развратников и пьяниц.

И когда он услышал о Черном Дике, он объявил, что до тех пор не станет есть ни мяса, ни рыбы, пока не обратит грешника на путь Господа, или, по крайней мере, не избавит от него свой приход.

А Дик клялся, что скорей отрубит свою правую руку и пойдет просить по дорогам, чем поверит в поповские бредни. Таким образом, между ними завязалась глухая вражда.

Помню, день был пасмурный и печальный. С утра шел дождь, и под ним наши низенькие серые лачужки еще глубже вращались в мокрую землю. Мы по обыкновению сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали, грубо и завистливо хохоча, как вчера Черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек. Вдруг за дверью послышались шаги, умоляющий шепот хозяйна, и в комнату вошел пастор, строгий и нахмуренный больше, чем всегда. Мы смолкли, и наши глаза невольно обратились к Черному Дику, как бы ища у него спасения и защиты.

Пастор быстро подошел к столу и ударом кулака опрокинул еще не начатую кружку джина. Только жалобно вздохнул хозяйин, но и он не двинулся, ожидая, что будет дальше.

— Блудники и нечестивцы, — загремел пастор, — вы, которым Господь Бог в неизреченной милости своей даровал труд, высшее благо Его, и отдых, чтобы прославлять Его совершенство, что делаете вы с вашими душами, за которые предал себя на распятие Иисус Христос? Вы, купленные для истины такой дорогой ценою, вы снова идете во мрак, и не как язычники, для тех еще может быть прощение, а как звери, некогда терзавшие тела святых мучеников. Опомнитесь, откажитесь от пьянства и идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище, — тут он поднял руки почти к самому лицу Черного Дика, — это чудовище камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям-разбойникам и бешеным волкам. Только тогда я смогу молиться о вашем спасении.

— Ого-го, — ответил Черный Дик, весь бледный от злости, — так вот что ты затеваешь, могильный червяк, бесхвостая крыса, воскресный пискун и плакса, который мешает честным людям забавляться, как им нравится. Нет, товарищи не выдадут Черного Дика, не побьют его камнями, как заблудившегося пса, и я сам тут же разобью твою безмозглую голову, где родятся такие сумасбродные мысли.

И он уже поднял тяжелый дубовый табурет, когда в комнату вбежала пасторша, за которой, чтобы избежать драки, потихоньку сбежала жена трактирщика. Она с воплем бросилась к мужу, который, слегка бледный, спокойно стоял перед разъяренным Диком, и, схватив его за руку, принялась тащить от нашей компании.

Пастор попробовал сопротивляться, но ее глаза были так испуганы и умоляющи, что он вздохнул и последовал за нею, провожаемый хохотом и насмешками своего врага.

Попойка возобновилась, и каждый из нас делал усилия, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом. Черный Дик заметил это и нахмурился. Опустив голову, он, казалось, что-то соображал. Но вот на его губах заиграла улыбка, в глазах запылали загадочно-веселые огоньки, и он воскликнул: «Товарищи, а ведь пастор-то говорил правду. Сколько времени мы пьянствуем и скандалим, и до сих пор ничего не сделали для Бога!» Тут он с шутовским раскаянием поднял глаза в потолок и воскликнул так, что все кругом засмеялись: «Даром, что редкий из нас не насчитывает в роду висельника или проститутки, мы должны быть рыцарями церкви и побеждать дьявольские козни. Меня вам нечего преследовать. Я рожден крещеными родителями, и, если бы не про-

пил мой серебряный крестик, он доньше болтался бы на моей груди. Лучше вспомните чертову девочку на Большом Острове. Вот грех, за который нам уже наверняка не миновать когтей дьявола».

Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга.

2

В полумиле от нашей деревни был остров, угрюмый и пустынный, на котором совсем одна жила странная девочка. Она была дочерью бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам, а отца ее никто не знал. Только старые бабы говорили, что это был сам морской дьявол. Но девочка была хорошенькая, с кроткими голубыми глазами, и иногда слышали, как она пела своим нежным голоском песни, в которых нельзя было разобрать слов. Хотя ей было уже двенадцать лет, но она не умела говорить, потому что жила на острове совершенно одна, как чайка, питаясь мелкими рыбками и моллюсками да изредка хлебом, который ей привозила ее безумная мать вместе с кое-каким тряпьем, чтобы одеться. Мы так привыкли к ее существованию, что почти никогда не вспоминали о ней, и поэтому слова Черного Дика и удивили, и заинтересовали нас. Он, видя общее внимание, подбоченился и, комически подражая пастору, продолжал: «Да, товарищи, прилично ли христианам жить в соседстве дьявольского дитяти? Недаром еще недавно, когда мы кончили бочку старого эля, всю ночь мне казалось, что меня мучат демоны и чугунными молотками выбивают на моем черепе такт для своей сатанинской пляски. И хотя думают, что это я разбил церковные стекла, но, клянусь вам дохлой собакой, это был не я. Всему виной проклятая девчонка. Довольно ей жить как крысе на острове и беседовать по ночам со своим мохнатым папашей. Привезем ее сюда и окрестим кружкой доброго вина. По крайней мере, еще одна славная девка прибавится в нашем селе».

— Правда, правда, — дружно загалдели мы, радуясь новой, еще невиданной шутке. И так как наши головы шумели и щеки пылали от джина, мы шумно и беспорядочно начали приготовления к охоте. Хватали багры, сети, пустые ведра, чтобы бить в них во время облавы.

— Как перепелку поймаем, — приговаривал Черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой.

Он распоряжался всем и был спокоен, как будто ничего не пил в тот день. Что-то странное и хищное уже тогда начало появляться в его движениях, но мы в суматохе не обращали на это внимания.

— Пьяницы, — увещевала нас жена трактирщика, — мало вам гадостей, что вы делали до сих пор. Ребенка не можете оставить в покое. С дубьем и камнями, как на дикого зверя, идете на невинное дитя.

— Молчи, старая колдунья, — ответил ей Черный Дик, — и смотри, как бы тебя самое не искупали на морозе в святой воде.

И она, обозленная, ушла за перегородку.

Мы вышли на улицу и гурьбой направились к берегу, где стояли наши лодки.

Дождь прекратился, было свежо и весело, и бледное солнце заставляло светиться большие серые лужи. Внезапно мы услышали крик и, обернувшись, увидели бегущую за нами сумасшедшую. Кто-нибудь сказал ей об опасности, угрожающей ее ребенку, или она догадалась сама, но только она цеплялась за нашу одежду и то целовала ее с униженными просьбами, то раздражалась угрозами и проклятиями и потрясала в воздухе почерневшими костлявыми руками.

Ее увели, и мы отчалили.

Хотя ветер и соленые брызги волн и освежили наши разгоряченные головы, но темная бешеная жажда травли с каждым мгновением росла в наших угрюмых сердцах и наконец совсем задушила смутные шепоты совести. Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос, гребли бесшумно, но уверенно и придвигали к себе багры и сети. Наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись вверх и огляделись.

Было ясно, что остров действительно служил любимым местом нечистой силы.

Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, при нашем приближении принимали вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стоймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их дольменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи наверно видели их и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров. И нам стало жутко и весело. Долго мы блужда-

ли по острову, шевелили руками кустарник и заглядывали в неглубокие пещеры — глубоких все-таки боялись, — когда наконец легкий свист Черного Дика известил нас, что добыча открыта. Соблюдая всевозможную осторожность, мы приблизились к нему и увидели под большой скалой, у самого моря, уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала.

Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанной бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голосу они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый, красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветов, которые она уронила подле себя. И пена, подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной.

Но вот Черный Дик прыгнул и крепко обхватил тело девочки, едва прикрытое жалкими лохмотьями. Она сразу проснулась и молча, со сжатыми губами и широко раскрытыми глазами, как ласточка, принялась биться в его руках. А он, позабыв о нашем присутствии, уже начал дышать тяжело и хрипло и, бесстыдно глядя на нее, прижимал к себе, как любовницу. Но тут мы в один голос потребовали, чтобы девочку отвезли в селенье.

— Место нечистое, — говорили мы, — может быть, сейчас кто-нибудь мохнатый и свирепый уже крадется за этими утесами, чтобы защитить свою любимицу и погубить наши христианские души. Лучше вернуться и за доброй кружкой джина или пенно-го эля окончить нашу затею.

Черному Дикуну пришлось уступить, и он сам отнес по-прежнему безмолвную и дрожащую девочку в свою лодку.

3

Наше возвращение было торжественно. Гребли, уже не скрываясь, и, нарочно вспенивая потемневшую вечернюю воду, стучали баграми и ведрами и дикими песнями пугали запоздалых чаек. Этим безумным весельем мы старались заглушить уже начинавшееся тяжелое беспокойство. Глаза Черного Дика были круглы и зловещи по-волчьи, и видно было, что он не отпустит девочки, пока не насытит с нею свои бешеные желания. Мы боялись его глаз. На берегу нас ожидал пастор. За один вечер он осу-

нулся и постарел на несколько лет. От его прежнего решительного вида не осталось и следа, и, когда он начал говорить, его голос зазвучал смиренно и жалобно.

— Я виноват перед тобою, Дик, — сказал он, — и виноват перед вами, мои друзья, когда отрывал вас от ваших забав и призывал к насилию. Всякому дана своя судьба, и не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаянием. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить тот же грех. Зачем вы поймали это несчастное создание, что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце. Отпустите же эту девочку обратно на остров, где она жила, никому не делая зла, или лучше отдайте ее пасторше, которая воспитает ее в христианской вере, как родную дочь.

— Шутки! — возопил Черный Дик. — Не слушайте его, товарищи, он тоже хочет попробовать, нежна ли кожа у маленькой девочки. Лучше мы окрестим ее по-своему, и пусть сегодня ночью она в первый раз поспит на людской постели, а я, как добрый христианин, не дам ей соскучиться. После и вы примете участие в этом богоугодном деле, если ваши жены не выцарапают вам глаза.

И, не обращая внимания на пастора, он перекинул девочку через плечо, как тюк, и бегом пустился к своему дому. Мы с хохотом последовали за ним. У дверей Дик остановился и стал отпирать. Но его ноша мешала ему, и он с проклятьем обеими руками схватился за замок. Девочка воспользовалась этим и, вывернувшись как кошка, проскользнула мимо нас и помчалась к берегу, прижимая свою грудь, измятую объятиями Дика.

— Лови, лови! — завывли мы и бросились в погоню.

Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки. Но девочка приняла неверное направление, и вместо того чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые на много метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатилась в пропасть. Только мелькнуло белое тело да затрещали внизу кусты. Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что хотя и знали, что он хорошо прыгал, но нас смутил его странный, почти нечеловеческий вой. Сразу опомнившись, мы стали поспешно спускаться, решая положить конец

слишком затянувшейся шутке. Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна. Наши ноги скользили по мокрым камням, и колючий кустарник резал лица. Наконец на самом дне мы увидели белое пятно и узнали девочку с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь; но Дика не было нигде.

Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими, как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно редела, но не хотела оставить тела девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища — Черного Дика.

* * *

Приближается к Каиру судно
С длинными знаменами Пророка,
По матросам угадать не трудно,
Что они с востока.

Капитан кричит и суетится,
Слышен голос гортанный и резкий,
На снастях видны смуглые лица
И мелькают красные фески.

На пристани толпятся дети,
Забавны их тонкие тельца,
Они сошлись еще на рассвете
Посмотреть, где станут пришельцы.

Аисты сидят на крыше
И вытягивают шеи,
Они всех выше,
И им виднее.

Аисты — воздушные маги,
Им многое ясно и понятно,
Почему у одного бродяги
На щеках багровые пятна.

Аисты кричат над домами,
Но никто не слышит их рассказа,
Что вместе с духами и шелками
Пробирается в город зараза.

* * *

Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь.
На пришлеца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И, точно маятник зловещий,
Звучал мой одинокий шаг.

И там, где гуще сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени столпившихся колонн.

Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх,
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,
Глаза зияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
»Ты сам пришел сюда, ты мой!«

Мгновенья страшные бежали,
И набегала полумгла,
И бледный ужас повторяли
Бесчисленные зеркала.

* * *

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
Опускали взоры, как рабы.

А царица, наклоняясь с ложа,
Радостно играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.

Задыхаясь в несказанном блюде,
Юный маг забыл про все вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
Чем была жива его душа.

А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
Для него алеющий цветок.

* * *

Над тростником медлительного Нила,
Где носятся лишь бабочки да птицы,

Скрывается забытая могила
Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,
Встает луна, как грешная сирена,
Бегут белесоватые туманы,
И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,
Смотрите, звезды, стройные виденья,
И темный Нил, владыка вод бесшумных,
И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,
Как блещут взоры злыми огоньками,
Не правда ль, я такая же царица,
Как та, что спит под этими камнями?

Ее глаза светились изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови».

По деревням собаки воют в страхе,
В домах рыдают маленькие дети,
И хмурые хватаются феллахи
За длинные, безжалостные плети.

* * *

Что ты видишь во взоре моем,
В этом бледно-мерцающем взоре?
— Я в нем вижу глубокое море
С потонувшим большим кораблем.

Тот корабль... величавей, смелее
Не видали над бездной морской.

Колебались высокие реи,
Трепетала вода за кормой.

И летучие странные рыбы
Покидали подводный предел
И бросали на воздух изгибы
Изумрудно-блистающих тел.

Ты стояла на дальнем утесе,
Ты смотрела, звала и ждала,
Ты в последнем веселом матросе
Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает
О безумной предсмертной борьбе
И о том, где теперь отдыхает
Тот корабль, что стремился к тебе.

И зачем эти тонкие руки
Жемчугами прорезали тьму,
Точно ласточки с песней разлуки,
Точно сны, улетаая к нему?

Только тот, кто с тобою, царица,
Только тот вспоминает о нем,
И его голубая гробница
В затуманенном взоре твоём.

* * *

Неслышный, мелкий падал дождь,
Вдали чернели купы роц,
Я шел один среди трав высоких,
Я шел и плакал тяжело
И проклинал творящих зло,
Преступных, гневных и жестоких.

И я увидел пришлеца
С могильной бледностью лица
И с пересохшими губами.
В хитоне белом, дорогом,
Как бы упившийся вином,
Он шел неверными шагами.

И он кричал: «Смотрите все,
Как блещут искры на росе,
Как дышат томные растенья,
И Солнце, золотистый плод,
В прозрачном воздухе плывет,
Как ангел с песней Воскресенья».

«Как звезды, праздничны глаза,
Как травы вьются волоса,
И нет в душе печалям места
За то, что я убил тебя,
Склоняясь, плача и любя,
Моя царица и невеста».

И все сильнее падал дождь,
И все чернели пущи роц,
И я промолвил строго-внятно:
«Убийца, вспомни Божий страх,
Смотри, на дорогих шелках
Как кровь алеющие пятна».

Но я отпрянул, удивлен,
Когда он свой раскрыл хитон
И показал на сердце рану.
По ней дымящаяся кровь
То тихо капала, то вновь
Струею падала по стану.

И он исчез в холодной тьме,
А на задумчивом холме
Рыдала горестная дева.
И я задумался светло
И полюбил творящих зло
И пламя их святого гнева.

ПОТОМКИ КАИНА

Сонет

Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод и будете как боги».

Для юношей открылись все дороги,
 Для старцев — все запретные труды,
 Для девушек — янтарные плоды
 И белые, как снег, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
 Нам кажется, что Кто-то нас забыл,
 Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
 Две жердочки, две травки, два дровца
 Соединит на миг крестообразно?

ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ

Картина в Лувре работы неизвестного

Его глаза — подземные озера,
 Покинутые, царские чертоги,
 Отмечен знаком высшего позора,
 Он никогда не говорит о Боге.

Его уста — пурпуровая рана
 От лезвия, пропитанного ядом,
 Печальные, сомкнувшиеся рано,
 Они зовут к непознанным усладам.

И руки — бледный мрамор полнолуний,
 В них ужасы неснятого проклятья,
 Они ласкали девушек-колдуний
 И ведали кровавые распятья.

Ему в веках достался странный жребий —
 Служить мечтой убийцы и поэта,
 Быть может, как родился он, на небе
 Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,
 В его душе печали без названья,
 За все сады Мадонны и Киприды
 Не променяет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,
 И нежен цвет его атласной кожи.

Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать... плакать больше он не может.

СКАЗКА

Тэффи

На скале, у самого края,
Где река Елизабет, протекая,
Скалит камни, как зубы, был замок.

На его зубцы и бойницы
Прилетали тощие птицы,
Глухо каркали, предвещая.

А внизу, у самого склона,
Залегла берлога дракона
Шестиногого, с рыжей шерстью.

Сам хозяин был черен, как в дегте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал.

Жил он скромно, хотя не медведем,
И известно было соседям,
Что он просто-напросто дьявол.

Но соседи его были тоже
Подозрительной масти и кожи —
Ворон, оборотень и гиена.

Собирались они и до света
Выли у реки Елизабета,
А потом в домино играли.

И так быстро летело время,
Что простое крапивное семя
Успевало взойти крапивой.

Это было еще до Адама,
В небесах жил не Бог, а Брама,
И на все он смотрел сквозь пальцы.

Жить да жить бы им без печали!
Но однажды в ночь переспали
Вместе оборотень и гиена.

И родился у них ребенок,
Не то птица, не то котенок,
Он радушно был взят в компанью.

Вот собрались они, как обычно,
И, повыв над рекой отлично,
Как всегда, за игру засели.

И играли, играли, играли,
Как играть приходилось едва ли
Им, — до одури, до одышки.

Только выиграл все ребенок:
И бездонный пивной бочонок,
И поля, и уголья, и замок.

Закричал, раздувшись, как груда:
«Уходите вы все отсюда,
Я ни с кем не стану делиться!»

Только добрую старую маму
Посажу я в ту самую яму,
Где была берлога дракона».

Вечером по берегу Елизабета
Ехала черная карета,
А в карете сидел старый дьявол.

Позади тащились другие,
Озабоченные, больные,
Глухо кашляя, подвывая.

Кто храбрился, кто ныл, кто сердился...
А тогда уж Адам родился,
Бог, спаси Адама и Еву!

ЛЕОНАРД

Три года чума и голод
Разоряли большую страну,

И народ сказал Леонарду:
— Спаси нас, ты добр и мудр. —

Старинных, заветных свитков
Все тайны знал Леонард,
В одно короткое лето
Страна была спасена.

Случились распри и войны,
Когда скончался король,
Народ сказал Леонарду:
— Отныне король наш ты. —

Была Леонарду знакома
Война, искусство царей,
Поэты победные оды
Не успевали писать.

Когда ж страна усмирилась
И пахарь взялся за плуг,
Народ сказал Леонарду:
— Ты молод, возьми жену. —

Спокойный, ясный и грустный,
В ответ молчал Леонард,
А ночью скрылся из замка,
Куда — не узнал никто.

Лишь мальчик-пастух, дремавший
В ту ночь в угрюмых горах,
Говорил, что явственно слышал
Согласный гул голосов.

Как будто орел парящий,
Овен, человек и лев
Вопяли, пели, зывали,
Говорили зараз во тьме.

IV

ВОРОТА РАЯ

Не семью печатями алмазными
В Божий рай замкнулся вечный вход,
Он не манит блеском и соблазнами
И его не ведает народ.

Это дверь в стене давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возле нищий, словно гость непрощенный,
И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Светлого апостола Петра.

Все мечтают: «Там, у Гроба Божия,
Двери рая вскроются для нас,
На горе Фаворе, у подножия
Прозвенит обетованный час».

Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкий рог,
И апостол Петр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог.

СТАРИНА

Вот парк с пустынными опушками,
Где сонных трав печальна зыбь,
Где поздно вечером с лягушками
Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашенный,
В нем словно плавает туман,
В нем залы гулкие украшены
Изображением пейзаев.

Тревожный сон... Но сон о небе ли?
Нет! На высоком чердаке,
Как ряд скелетов, груды мебели
В пыли починут и тоске.

Мне суждено одну тоску нести,
Где дед раскладывал пасьянс
И где влюблялись тетки в юности
И танцевали контреданс.

И сердце мучится бездомное,
Что им владеет лишь одна,
Такая скучная и темная,
Незолотая старина.

...Теперь бы кручи необорные,
Снега серебряных вершин
Да тучи сизые и черные
Над гулким грохотом лавин!

ХРИСТОС

Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.

Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши.

Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды, —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.

Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца».

Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.

ЗАВОДИ

Н. В. Анненской

Солнце скрылось на западе
За полями обетованными,
И стали тихие заводи
Синими и благоуханными.

Сонно дрогнул камыш,
Пролетела летучая мышь,
Рыба плеснулась в омуте...
...И направились к дому те,
У кого есть дом
С голубыми ставнями,
С креслами давними
И круглым чайным столом.

Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, Господи.

ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ

Золотым блистательным полднем въехало семеро рыцарей-крестоносцев в узкую глухую долину восточного Ливана. Солнце метало свои лучи, разноцветные и страшные, как стрелы неверных, кони были утомлены долгим путем, и могучие всадники едва держались в седлах, изнемогая от зноя и жажды. Знаменитый

граф Кентерберийский Оливер, самый старый во всем отряде, подал знак отдохнуть. И как нежные девушки, ошеломленные неистово-пьяным и томящим индийским ветром, бессильные попадали рыцари на голые камни. Долго молчали они, ясно чувствуя, что уже не подняться им больше и не сесть на коней и что скоро жажда, подобно огненному дракону, свирепыми лапами став им на грудь, перервет их пересохшие гора.

Наконец сэр Гуго Эльвистам, темплиер с душой сирийского льва, приподнявшись на локте, воскликнул: «Благородные сэры и дорогие братья во Христе, вот уже восемь дней, как мы блуждаем одни, отбившись от отряда, и два дня тому назад мы отдали последнюю воду нищему прокаженному у высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы должны умереть, то умрем, как рыцари, стоя, — и споем в последний раз приветственный гимн нашему небесному Синьору, Господу Иисусу Христу». И он медленно поднялся, с невидящим взором, цепляясь за колючий кустарник, и один за другим начали подниматься его товарищи, шатаясь и с трудом выговаривая слова, как бы упившиеся кипрским вином в строгих и сумрачных залах на торжественном приеме византийского императора.

И странно и страшно было бы на душе одинокого пилигрима или купца из далекой Армении, если бы случайно, проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих рыцарей и услышали бы их тихое созвучное пение.

Но внезапно слова их молитвы прервал приближающийся топот коня, звучный и легкий, как звон серебряного меча в ножнах архистратига Михаила. Нахмурились гордые брови молящихся, и их души, уже сдружившиеся с мягким сумраком смерти, омрачились ненужной помехой, а на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, тонкий и стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом и в латах чистого золота, ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле касался копытами гулких утесов.

Голубой герольд на коне белоснежном, с лицом кротким и мудрым, тайно похожим на образ апостола Иоанна, спешил за своим господином. Чудные всадники быстро приближались к умирающим рыцарям, певшим гимн.

Одетый в золото осадил коня и наклонил копьё, как перед началом сражения, а герольд, поднимая щит со странным гербом, где мешались лилии и звезды, столпы Соломонова храма и колючие терны, воскликнул слова, издавна принятые для турниров:

«Кто из благородных рыцарей, присутствующих здесь, хочет сразиться с моим господином, пеший или конный, на копьях или мечах?» И отъехал в сторону, ожидая.

Неожиданно подул откуда-то ветер, принося освежительную прохладу, внезапно окрепли мускулы дотоле бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать их горло и грудь, сделался совсем маленьким и с беспокойным свистом уполз в темную расщелину скал, где таились его братья скорпионы и мохнатые тарантулы.

Граф Кентерберийский Оливер первый ответил голубому герольду от имени всех. В речи изысканно-вежливой, но полной достоинства, он сказал, что они нисколько не сомневаются в благородном происхождении неизвестного рыцаря, но тем не менее желали бы видеть его поднявшим забрало, ибо этого требует старинный рыцарский обычай. Едва он успел окончить свои слова, как тяжелое сияющее забрало поднялось, открывая лицо совершеннейшей красоты, которая когда-нибудь цвела на земле и на небе, глаза, полные светлой любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала святая Магдалина, и золотую бородку, расчесанную и надушенную самой Девой Марией.

Не посмели догадаться благочестивые рыцари, кто пришел облегчить их страдания и разделить забавы, хотя волна мистического восторга и захватила их души, как ураган в открытом море схватывает оробелых пловцов, чтобы, повертев их среди изумрудных брызг и клокочущей пены, бросить на отлогий берег островов неведомого счастья. И, полные чувством благоговения и таинственной любви к своему противнику, они просили его принять дань их уважения перед началом турнира.

Первым выступил герцог Нортумберландский, но не помогли ему ни руки, бросавшие на землю сильнейших, ни очи, побеждавшие прекраснейших дам при дворе веселого короля Ричарда. Он был выбит из седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его сердце, несмотря на поражение, поет и смеется. Его товарищей одного за другим постигла та же участь. И когда золотой незнакомец с заразительно-веселым, нежным смехом повалил на землю последнего, вышедшего против него, барона Норвичского, огромного и могучего, как медведь Пиренеев, все рыцари согласно решили, что копьё их противника не знает равного во всем английском войске, а следовательно и во всем мире.

За турниром должен следовать пир. Так было принято в старой веселой Англии. И захваченные чарами рыцари не удивились, когда на месте их копий, воткнутых в трещины скал, под-

нялись цветущие пальмы с обольстительно-спелыми плодами и прозрачный ручеек выбежал из голой скалы, звеня, как бронзовые запястья любимейшей дочери арабского шейха.

Весело пировали утомленные рыцари, говорили о битвах и любви и пели стройные песни, сложенные о них менестрелями.

Было сладко им, заглянувшим в лицо смерти, смотреть на солнце и зелень, каждый глоток плескался радостью в широко открытое сердце, и каждый проглоченный кусок приобщал их к новой жизни.

Золотой победитель сидел с другими и ел, и пил, и смеялся.

А вечером, когда зашептались далекие кедры и тени все чаще стали задевать своими мягкими крыльями лица сидящих, он сел на коня и углубился в ущелье. Остальные, точно замороженные, последовали за ним. Там возвышалась широкая и отлогая лестница из белого мрамора с голубыми жилками, ведущая прямо на небо. Тяжко зазвучали на мраморе копыта земных коней, и легкий ласкался к ним конь золотистый. Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже ясно стали различаться купы немислимо дивных деревьев, утопающих в синем сиянии. Среди них свирельными голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благостная Дева Мария, больше похожая на старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, Властительного Сеньора душ, Иисуса Христа.

* * *

Через несколько дней английское войско, скитаясь в горах, набрело на трупы своих заблудившихся товарищей. Отуманилось сердце веселого короля Ричарда, и, призвав арабского медика, он долго расспрашивал его о причине смерти столь знаменитых воинов.

— Их убило солнце, — ответил ученый, — но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым.

БАЛЛАДА

Влюбленные, чья грусть как облака,
И нежные задумчивые леди,
Какой дорогой вас ведет тоска,
К какой еще неслыханной победе

Над чарой вам назначенных наследий?
 Где вашей вечной грусти и слезам
 Целительный предложится бальзам?
 Где сердце запылает, не сгорая?
 В какой пустыне явится глазам,
 Блеснет сиянье розового рая?

Вот я нашел, и песнь моя легка,
 Как память о давно прошедшем бреде,
 Могучая взяла меня рука,
 Уже слетел к дрожащей Андромеде
 Персей в кольчуге из горящей меди.
 Пускай вдали пылает лживый храм,
 Где я теням молился и словам,
 Привет тебе, о родина святая!
 Влюбленные, пытайте рок, и вам
 Блеснет сиянье розового рая.

В моей стране спокойная река,
 В полях и рощах много сладкой снеди,
 Там аист ловит змей у тростника,
 И в полдень, пьяны запахом камеди,
 Кувыркаются рыжие медведи.
 И в юном мире юноша Адам,
 Я улыбаюсь птицам и плодам,
 И знаю я, что вечером, играя,
 Пройдет Христос-младенец по водам,
 Блеснет сиянье розового рая.

Посылка

Тебе, подруга, эту песнь отдам,
 Я веровал всегда твоим стопам,
 Когда вела ты, нежа и карая,
 Ты знала все, ты знала, что и нам
 Блеснет сиянье розового рая.

ОТРЫВОК

Христос сказал: убогие блаженны,
 Завиден рок слепцов, калек и нищих,
 Я их возьму в надзвездные селенья,
 Я сделаю их рыцарями неба

И назову славнейшими из славных...
 Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
 Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
 Чьи имена звучат нам, как призывы?
 Искупят чем они свое величье,
 Как им заплатит воля равновесья?
 Иль Беатриче стала проституткой,
 Глухонемым — великий Вольфганг Гете
 И Байрон — площадным шутом... о ужас!

БЛУДНЫЙ СЫН

1

Нет дома подобного этому дому!
 В нем книги и ладан, цветы и молитвы!
 Но видишь, отец, я томлюсь по иному,
 Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы.

На то ли, отец, я родился и вырос,
 Красивый, могучий и полный здоровья,
 Чтоб счастье побед заменил мне твой клирос
 И гул изумленной толпы — славословья.

Я больше не мальчик, не верю обманам,
 Надменность и кротость — два взмаха кадила,
 И Петр не унизится пред Иоанном,
 И лев перед агнцем, как в сне Даниила.

Позволь, да твое преумножу богатство,
 Ты плачешь над грешным, а я негодую,
 Мечом укреплю я свободу и братство,
 Свирипых огнем научу поцелую.

Весь мир для меня открывается внове,
 И я буду князем во имя Господне...
 О, счастье! О, пенье бунтующей крови!
 Отец, отпусти меня... завтра... сегодня!..

2

Как розов за портиком край небосклона!
 Как веселы в пламенном Тибре галеры!

Пускай приведут мне танцовщиц Сидона,
И Тира, и Смирны... во имя Венеры,

Цветов и вина, дорогих благовоний...
Я праздную день мой в веселой столице!
Но где же друзья мои, Цинна, Петроний?..
А вот они, вот они, *salve, amici*¹.

Идите скорей, ваше ложе готово,
И розы прекрасны, как женские щеки;
Вы помните верно отцовское слово,
Я послан сюда был исправить пороки...

Но в мире, которым владеет превратность,
Постигнув философов римских науку,
Я вижу один лишь порок — неопрятность,
Одну добродетель — изящную скуку.

Петроний, ты морщишься? Будь я повешен,
Коль ты недоволен моим сиракузским!
Ты, Цинна, смеешься? Не правда ль, потешен
Тот раб косоглазый и с черепом узким?

3

Я пададь сволок к тростникам отдаленным
И поило для мулов поставил в их стойла;
Хозяин, я голоден, будь благосклонным,
Позволь, мне так хочется этого поила.

За ригой есть куча лежалого сена,
Быки не едят его, лошади тоже:
Хозяин, твой я целую колена,
Позволь из него приготовить мне ложе.

Усталость — работнику помощь плохая,
И слепнут глаза от соленого пота,
О, день, только день провести, отдыхая...
Хозяин, не бей! Укажи, где работа.

¹ Привет, друзья! (*лат.*).

Ах, в рощах отца моего апельсины,
Как красное золото, полднем бездонным,
Их рвут, их бросают в большие корзины
Красивые девушки с пеньем влюбленным.

И с думой о сыне там бодрствует ночи
Старик величавый с седой бородою,
Он грустен.. пойду и скажу ему: «Отче,
Я грешен пред Господом и пред тобою».

4

И в горечи сердце находит усладу:
Вот сад, но к нему подойти я не смею,
Я помню... мне было три года... по саду
Я взапуски бегал с лисицей моею.

Я вырос! Мой опыт мне дорого стоит,
Томили предчувствия, грызла потеря...
Но целое море печали не смоет
Из памяти этого первого зверя.

За садом возносятся гордые своды,
Вот дом — это дедов моих пепелище,
Он, кажется, вырос за долгие годы,
Пока я блуждал, то распутник, то нищий.

Там празднество: звонко грохочет посуда,
Дымятся тельцы и румянится тесто,
Сестра моя вышла, с ней девушка-чудо,
Вся в белом и с розами, словно невеста.

За ними отец... Что скажу, что отвечу,
Иль снова блуждать мне без мысли и цели?
Узнал... догадался... идет мне навстречу...
И праздник, и эта невеста... не мне ли?!

* * *

Да, мир хорош, как старец у порога,
Что путника ведет во имя Бога

В заране предназначенный покой,
А вечером, простой и благодушный,
Приказывает дочери послушной
Войти к нему и стать его женой.

Но кто же я, отступник богомольный,
Обретший все и вечно недовольный,
Сдружившийся с луной и тишиной?
Мне это счастье — только указанье,
Что мне не лжет мое воспоминанье,
И пил я воду родины иной.

ВЕЧНОЕ

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо — тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот;

Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души...
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!

Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.

И тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине,
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине,

Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, —
Положит посох, обернется
И скажет просто: «Мы пришли».

* * *

Я вежлив с жизнью современной,
Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошено
В мой дом спокойствие входило;
Я клялся быть стрелой, брошенной
Рукой Немврода иль Ахилла.

Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Грозу в лесах, объятых дрожью.

И видит, горестно-смеющийся,
Всегда недвижимые качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

1913

ПЯТИСТОПНЫЕ ЯМБЫ

Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг. Могучих волн громаду
Взрывали злобно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота.

О, как я их жалел, как было странно
Мне думать, что они идут назад
И не открыли бухты необманной,
Что дон Жуан не встретил донны Анны,

Что гор алмазных не нашел Синдбад
И Вечный Жид несчастней во сто крат!

Но проходили месяцы; обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер, — мне нравились их пятна, —
И то, что прежде было непонятно —
Презренье к миру и усталость снов.

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась... И ты,

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль!
Взлетели кости, звонкие как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты задумчиво и строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя;
Но пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и ранил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.

Я не скорблю. Так надо было. Правый
Перед собой, не знаю я обид.
Ни тайнами, ни радостью, ни славой
Мгновенный мир меня не обольстит,
И женский взор, то нежный, то лукавый,
Лишь изредка, во сне, меня томит.

Лишь изредка надменно и упрямо
Во мне кричит ветшающий Адам,
Но тот, кто видел лилию Хирама,
Тот не грустит по сказочным садам,
А набожно возводит стены храма,
Угодного земле и небесам.

Нас много здесь собралось с молотками,
И вместе нам работать веселей;
Одна любовь сковала нас цепями,
Что адаманта тверже и светлей,
И машет белоснежными крылами
Каких-то небывалых лебедей.

Нас много, но одни во власти ночи,
А колыбель других еще пуста,
О тех скорбит, а о других пророчит
Земных зеленых весен красота,
Я ж — Прошлого увидевшие очи,
Грядущего разверстые уста.

Все выше храм, торжественный и дивный,
В нем дышит ладан и поет орган;
Сияют нимбы; облак переливный
Свечей и солнца — радужный туман;
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран.

Мне золоченый стиль вручил Virgiliy,
А строгий Дант — гусиное перо,
И мне не надо ангельских воскрылий,
Чужое отвергаю я добро,
Я лилия простая между лилий,
Средь серебра я только серебро.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Прошел патруль, стуча мечами,
Дурной монах прокрался к милой,
Над островерхими домами
Неведомое опочило.

Но мы спокойны, мы поспорим
Со стражами Господня гнева,
И пахнет звездами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.

Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитнокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали мasonsы.

Слова их скупы и случайны,
Но взоры ясны и упрямы,
Им древние открыты тайны,
Как строить каменные храмы.

Поцеловав порог узорный,
Свершив коленопреклоненье,
Мы попросили так покорно
Тебе и мне благословенья.

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула».

Пока они живут на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.

СЧАСТИЕ

1

Больные верят в розы майские,
И нежны сказки нищеты,
Заснув в тюрьме, виденья райские
Наверняка увидишь ты.

Но нет тревожней и заброшенной —
Печали посреди шелков,
И я принцессе на горошине
Всю кровь мою отдать готов.

2

— «Хочешь, горбун, поменяться
Своею судьбой с моей,
Хочешь шутить и смеяться,
Быть вольной птицей морей?» —
Он подозрительным взглядом
Смерил меня всего:
— «Уходи, не стой со мной рядом,
Не хочу от тебя ничего!» —

3

У муки столько струн на лютне,
У счастья нету ни одной,
Взлетевший в небо бесприютней,
Чем опустившийся на дно.
И Заклинающий проказу,
Сказавший деде — талифа!..
...Ему дороже нищий Лазарь
Великолепного волхва.

4

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И Ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

5

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,

Мне вдруг примнилось искупление,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

ВОСЬМИСТИШЕ

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.
И, символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.

ВОЙНА

М. М. Чичагову

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали, как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это — мирное селенье
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся под сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: — Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!

СМЕРТЬ

Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть,
Лишь под пулями в рвах спокойных
Верить в знамя Господне, твердь.

И за это знаешь так ясно,
Что в единственный, строгий час,
В час, когда, словно облак красный,
Милый день уплывет из глаз,

Свод небесный будет раздвинут
Пред душою, и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.

Там Начальник в ярком доспехе,
В грозном шлеме звездных лучей
И к старинной, бранной потехе
Огнекрылых зов трубачей.

Но и здесь на земле не хуже
Та же смерть — ясна и проста:
Здесь товарищ над павшим тужит
И целует его в уста.

Здесь священник в рясе дырявой
Умиленно поет псалом,
Здесь играют марш величавый
Над едва заметным холмом.

ГОРОДОК

Над широкою рекой,
Пояском-мостом перетянутой,
Городок стоит небольшой,
Летописцем не раз помянутый.

Знаю, в этом городке —
Человечья жизнь настоящая,
Словно лодочка на реке,
К цели ведомой уходящая.

Полосатые столбы
У гауптвахты, где солдатики
Под пронзительный вой трубы
Маршируют, совсем лунатики.

На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие —
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие.

В крепко слаженных домах
Ждут хозяйки белые, скромные,
В самаркандских цветных платках,
А глаза все такие темные.

Губернаторский дворец
Пышет светом в часы вечерние,
Предводителей жеребец —
Удивление всей губернии.

А весной идут, таясь,
На кладбище девушки с милыми,
Шепчут, ластясь: «Мой яхонт-князь!»
И целуются над могилами.

Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, Отеческой,
И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.

ПАМЯТЬ

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, Память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой

Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел неожиданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

V

* * *

За покинутым бедным жилищем,
Где чернеют остатки забора,
Старый ворон с оборванным нищим
О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней
Говорил, трепеща от волнения,
Что ему на развалинах башни
Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом
Он не помнил тоски их жилища
И был лебедем нежным и белым,
Принцем был отвратительный нищий.

Нищий плакал бессильно и глухо,
Ночь тяжелая с неба спустилась,
Проходившая мимо старуха
Учащенно и робко крестилась.

ЖИРАФ

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелиться только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немислимых трав...
Ты плачешь? Послушай... далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
 Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
 Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
 Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, —
 У того исчез навеки безмятежный свет очей;
 Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
 Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
 Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
 И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
 И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
 И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
 Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
 В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
 В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
 И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
 И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья,
ни сокровищ!

Но, я вижу, ты смеешься, эти взоры — два луча.
 На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
 И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

СЕВЕРНЫЙ РАДЖА

Валентину Кривичу

1

Она простерлась, неживая,
 Когда замышлен был набег,
 Ее сковали грусть без края,
 И синий лед, и белый снег.

Но и задумчивые ели
В цветах серебряной луны,
Всегда тревожные, хотели
Святой по-новому весны.

И над страной лесов и гатей
Сверкнула золотом заря,
То шли бесчисленные рати
Непобедимого царя.

Он жил на сказочных озерах,
Дитя брильянтовых раджей,
И радость светлая во взорах,
И губы лотуса свежей.

Но, сына царского, на север
Его таинственно влечет,
Он хочет видеть в поле клевер,
В сосновых рощах — желтый мед.

Гудит земля, оружие блещет,
Трубят военные слоны,
И сын полуночи трепещет
Пред сыном солнечной страны.

Се — царь! Придите и поймите
Его спасающую сеть,
В кипучий вихрь его событий
Спешите кануть и сгореть.

Легко сгореть и встать иными,
Ступить на новую межу,
Чтоб встретить в пламени и дыме
Владыку севера, Раджу.

2

Он встал на крайнем берегу,
И было хмуро побережье,
Едва чернели на снегу
Следы глубокие, медвежьи.

Да в отдаленной полынне
Плескались рыжие тюлени,
Да небо в розовом огне
Бросало ровный свет без тени.

Он обернулся... там, во мгле,
Дрожали зябнущие парсы
И, обессилов, на земле
Валялись царственные барсы,

А дальше падали слоны,
Дрожа, стонали, как гиганты,
И лился мягкий свет луны
На их уборы, их брильянты.

Но людям, павшим перед ним,
Царь кинул гордое решение:
«Мы в царстве снега создадим
Иную Индию... Виденье.

На этот звонкий синий лед
Утесы мрамора не лягут,
И лотус здесь не зацветет
Под вековой сенью пагод.

Но будет белая заря
Пылать слепительнее вдвое,
Чем у бирманского царя
Костры из мирры и алоэ.

Не бойтесь этой наготы
И песен холода и вьюги, —
Вы обретете здесь цветы,
Каких не знали бы на юге».

3

И древле мертвая страна
С ее нетронутою новью,
Как дева юная, пьяна
Своей великою любовью.

Из дивной Галии вотще
К ней приходили кавалеры,
Красуясь в бархатном плаще,
Манили к тайнам чуждой веры.

И Византии строгой речь,
Ее задумчивые книги,
Не заковали этих плеч
В свои тяжелые вериги.

Здесь каждый миг была весна
И в каждом взоре жило солнце,
Когда смотрела тишина
Сквозь закоптелое оконце.

И каждый мыслил: «Я в бреду,
Я сплю, но радости все те же,
Вот встану в розовом саду
Над белым мрамором прибрежий».

И та, которую люблю,
Придет застенчиво и томно,
Она близка... теперь я сплю
И хорошо, у грезы темной».

Живет закон священной лжи
В картине, статуе, поэме —
Мечта великого Раджи,
Благословляемая всеми.

В БИБЛИОТЕКЕ

М. Кузмину

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок,
Куда от странной грезы деться,
Я отыскал сейчас цветок
В процессе древнем Жиль де Реца.

Изрезан сетью бледных жил,
Сухой, но тайно благовонный...
Его, наверно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп
И мысли холодно-жестоки.

И, верно, дьявольская страсть
В душе вставала, словно пенье,
Что дар любви, цветок, увясть
Был брошен в книге преступленья.

И после, там, в тени аркад,
В великолепье ночи дивной
Кого заметил тусклый взгляд,
Чей крик слышался призывный?

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И время жизни — злое время...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты... они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О, пожелтевшие листья,
Шагреновые переплеты!

* * *

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день, другой, и завянут,
У меня не живут цветы.

Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро — комочек из пуха...
Даже птицы здесь не живут.

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.

Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым и нищим...
...Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

ЖИЗНЬ СТИХА

I

Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит судья. Что же делает поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не изложит он условий произрастания различных злаков, почему отказывается сочинить новую «Дубинушку» или обсахаривать горькое лекарство религиозных тезисов? Почему только в минуты малодушия соглашается признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Разве нет места у поэта, все равно, в обществе ли буржуазном, социал-демократическом или общине религиозной? Пусть замолчит Иоанн Дамаскин!

Так говорят поборники тезиса «Искусство для жизни». Отсюда Франсуа Коппе, Сюлли-Прюдом, Некрасов и во многом Андрей Белый.

Им возражают защитники «Искусства для искусства»: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас... душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры, довольно с вас, рабов безумных...» Для нас, принцев Песни, жизнь только средство для полета: чем сильнее танцующий ударяет ногами землю, тем выше он поднимается. Чеканим ли мы свои стихи, как кубки, или пишем неясные, словно пьяные, песенки, мы всегда и прежде всего свободны и вовсе не желаем быть полезными.

Отсюда — Эредиа, Верлен, у нас — Майков.

Этот спор длится уже много веков, не приводя ни к каким результатам, и неудивительно: ведь от всякого отношения к чему-

либо, к людям ли, к вещам или к мыслям, мы требуем прежде всего, чтобы оно было целомудренным. Под этим я подразумеваю право каждого явления быть самоценным, не нуждаться в оправдании своего бытия, и другое право, более высокое, — служить другим.

Гомер оттачивал свои гекзаметры, не заботясь ни о чем, кроме гласных звуков и согласных, цезур и сподеев, и к ним принаравливал содержание. Однако он счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши не стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира.

Нецеломудренность отношения есть и в тезисе «Искусство для жизни» и в тезисе «Искусство для искусства».

В первом случае искусство низводят до степени проститутки или солдата. Его существование имеет ценность лишь постольку, поскольку оно служит чуждым его целям. Неудивительно, если у кротких муз глаза становятся мутными и они приобретают дурные манеры.

Во втором — искусство изнеживается, становится мучительно-лунным, к нему применимы слова Малларме, вложенные в уста его Иродиады:

...J'aime l'horreur d'être vierge et je veux
Vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux...

(Я люблю позор быть девственной и хочу жить
среди ужаса, рождаемого моими волосами...)

Чистота — это подавленная чувственность, и она прекрасна, отсутствие же чувственности пугает, как новая, неслыханная форма разврата.

Нет! Возникает эра эстетического пуританизма, великих требований к поэту как творцу и мысли или слову — как материалу искусства. Поэт должен возложить на себя вериги трудных форм (вспомним гекзаметры Гомера, терцины и сонеты Данте, старшотландские строфы поэм Байрона) или форм обычных, но доведенных в своем развитии до пределов возможного (ямбы Пушкина), должен, но только во славу своего Бога, которого он обязан иметь. Иначе он будет простым гимнастом.

Все же, если выбирать из двух вышеприведенных тезисов, я сказал бы, что в первом больше уважения к искусству и понимания его сущности. На него накладывается новая цепь, указывается новое применение кипящим в нем силам, пусть недостойное, низкое — это не важно: разве очищение Авгиевых конюшен не упоминается наравне с другими великими подвигами Герак-

ла? В старинных балладах рассказывается, что Роланд тосковал, когда против него выходил десяток врагов. Красиво и достойно он мог биться только против сотни. Однако не надо забывать, что и Роланд мог быть побежден...

Сейчас я буду говорить только о стихах, помня слова Оскара Уайльда, приводящие в ужас слабых и вселяющие бодрость в сильных: «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альты или лютни, не только — краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах венецианцев и испанцев; не только пластичные формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, — у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность.

Все это есть у одних слов».

А что стих есть высшая форма речи, знает всякий, кто, внимательно оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать рождающийся ритм.

II

Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатые во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития — и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью.

Наконец, в муках, схожих с муками деторождения (об этом говорит и Тургенев), появляется стихотворение. Благо ему, если в момент его появления поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству соображениями, если, кроткий как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое, и, мудрый как змей, старался заключить все это в наиболее совершенную форму.

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе, и даже умерев, подобно царю Соломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. Такова Илиада...

Но есть стихотворения невыношенные, в которых вокруг первоначального впечатления не успели наслоиться другие, есть и

такие, в которых, наоборот, подробности затемняют основную тему, они — калеки в мире образов, и совершенство отдельных их частей не радует, а скорее печалит, как прекрасные глаза горбунов. Мы многим обязаны горбунам, они рассказывают нам удивительные вещи, но иногда с такой тоской мечтаешь о стройных юношах Спарты, что не жалеешь их слабых братьев и сестер, осужденных суровым законом. Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий, но безумно красивый бог.

Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в креслах, но жизнью полной и могучей, — чтобы оно возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования? Каким требованиям должно оно удовлетворять?

Я ответил бы коротко: всем.

В самом деле, оно должно иметь: мысль и чувство, — без первой самое лирическое стихотворение будет мертво, а без второго даже эпическая баллада покажется скучной выдумкой (Пушкин в своей лирике и Шиллер в своих балладах знали это), — мягкость очертаний юного тела, где ничто не выделяется, ничто не пропадает, и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту — для нее одной открыто будущее, и — утонченность, как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков; и еще превыше этого — стиль и жест.

В стиле Бог показывается из своего творения, поэт дает самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, о форме своих рук. А это так важно. Ведь Данте Алигьери — мальчика, влюбившегося в бледность лица Беатриче, неистового гиббеллина и веронского изгнанника — мы любим не меньше, чем его «Божественную комедию»... Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой. Жалобы поэтов на тот факт, что публика не сочувствует их страданиям, упиваясь музыкой стиха, основаны на недоразумении. И радость, и грусть, и отчаяние читатель почувствует только свои. А чтобы возбуждать сочувствие, надо говорить о себе суконным языком, как это делал Надсон.

Возвращаясь к предыдущему: чтобы быть достойным своего имени, стихотворение, обладающее перечисленными качествами, должно сохранить между ними полную гармонию и, что все-

го важнее, быть вызванным к жизни не «пленной мысли раздражением», а внутренней необходимостью, которая дает ему душу живую — темперамент. Кроме того, оно должно быть безукоризненно даже по неправильности. Потому что индивидуальность стихотворению придают только сознательные отступления от общепринятого правила, причем они любят рядиться в бессознательные. Так, Charles Asselineau рассказывает о «распутном сонете», где автор, сознательно нарушая правила, притворяется, что делает это в порыве поэтического вдохновения или увлечения страстью. И Ронсар, и Мейнар, и Малерб писали такие сонеты. Эти неправильности играют роль родинки, по ним легче всего восстановить в памяти облик целого.

Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию. Такое стихотворение самоценно, оно имеет право существовать во что бы то ни стало. Так для спасения одного человека снаряжаются экспедиции, в которых гибнут десятки других людей. Но, однако, раз он спасен, он должен, как и все, перед самим собой оправдывать свое существование.

III

Действительно, мир образов находится в тесной связи с миром людей, но не так, как это думают обыкновенно. Не будучи аналогией жизни, искусство не имеет бытия, вполне подобного нашему, не может нам доставить чувственного общения с иными реальностями. Стихи, написанные даже истинными визионерами в момент транса, имеют значение лишь постольку, поскольку они хороши. Думать иначе — значит повторять знаменитую ошибку воробьев, желающих склевать нарисованные плоды.

Но прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают. Для многих отношений они являются высшими судьями, вроде тотемов североамериканских дикарей. Пример — тургеневское «Затишье», где стихотворение «Анчар» своей силой и далекостью ускоряет развязку одной, по-русски тяжелой любви; или «Идиот» Достоевского, когда «Бедный Рыцарь» звучит как заклинание на устах Аглаи, безумной от жажды по-

любить героя; или «Ночные Пляски» Сологуба с их поэтом, зачаровывающим капризных царевен дивной музыкой лермонтовских стрóf.

В современной русской поэзии как на пример таких «живых» стихотворений я укажу всего на несколько, стремясь единственно к тому, чтобы иллюстрировать вышесказанное, и оставляя в стороне многое важное и характерное. Вот хотя бы стихотворение Валерия Брюсова «В склепе»:

Ты в гробнице распростерта в миртовом венце.
Я целую лунный отблеск на твоём лице!..

Сквозь решетчатые окна виден круг луны,
В ясном небе, как над нами, тайна тишины.

За тобой у изголовья венчик влажных роз,
На твоих глазах, как жемчуг, капли прежних слез.

Лунный луч, лаская розы, жемчуг серебрит,
Лунный свет обходит кругом мрамор старых плит.

Что ты видишь, что ты помнишь в непробудном сне?
Тени темные все ниже клонятся ко мне.

Я пришел к тебе в гробницу через черный сад,
У дверей меня лемуры злобно сторожат.

Знаю, знаю, мне не долго быть вдвоем с тобой!
Лунный свет свершает мерно путь свой круговой.

Ты — недвижна, ты — прекрасна, в миртовом венце.
Я целую свет небесный на твоём лице!

Здесь, в этом стихотворении, брюсовская страстность, позволяющая ему невнимательно отнестись даже к высшему ужасу смерти, исчезновения, и брюсовская нежность, нежность почти девическая, которую все радуется, все томит, и лунный свет, и жемчуг, и розы, — эти две самые характерные особенности его творчества помогают ему создать образ, слепок, быть может, мгновения встречи безвозвратно разлученных и навсегда отравленных этой разлукой влюбленных.

В стихотворении «Гелиады» («Прозрачность», с. 24) Вячеслав Иванов, поэт, своей солнечностью и чисто мужской силой столь отличный от лунной женственности Брюсова, дает образ Фаэтона. Светлую древнюю сказку он превращает в вечно юную правду. Всегда были люди, обреченные на гибель самой природой их дерзаний. Но не всегда знали, что поражение может быть плодотворнее победы.

Он был прекрасен, отрок гордый,
Сын Солнца, юный Солнцебог,

Когда схватил рукою твердой
Величья роковой залог,

Когда бразды своей державы
Восхитил у зардевших Ор, —
А кони бились у заставы,
Почуя пламенный простор!

И, пущены, взнеслись, заржали,
Покинув алую тюрьму,
И с медным топотом бежали,
Послушны легкому ярму... и т. д.

«Отрок гордый» не появляется в самом стихотворении, но мы видим его в словах и песнях трех девушек Гелиад, влюбленных в него, толкнувших его на погибель и оплакивающих его «над зеленым Эриданом». И мучительно-завидна судьба того, о ком девушки поют такие песни!

И. Анненский тоже могуч, но мощью не столько Мужской, сколько Человеческой. У него не чувство рождает мысль, как это вообще бывает у поэтов, а сама мысль крепнет настолько, что становится чувством, живым до боли даже. Он любит исключительно «здесь», и эта любовь приводит его к преследованию не только декораций, но и декоративности. От этого его стихи мучат, они наносят душе неисцелимые раны, и против них надо бороться заклинаниями времен и пространства.

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых!
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.

О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: — ты та ли, та ли? —
И струны ластились к нему,
Звения, но ластясь, трепетали.

Не правда ль? Больше никогда
Мы не расстанемся — довольно?
И скрипка отвечала: «да»,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке это все держалось,
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
 До утра свеч... и струны пели,
 Лишь утро их нашло без сил
 На черном бархате постели.

С кем не случалось этого? Кому не приходилось склоняться над своей мечтой, чувствуя, что возможность осуществить ее потеряна безвозвратно? И тот, кто, прочитав это стихотворение, забудет о вечной, девственной свежести мира, поверит, что есть только мука, пусть кажущаяся музыкой, — тот погиб, тот отравлен. Но разве не чарует мысль о гибели от такой певучей стрелы?

Затем, минуя «Незнакомку» Блока, — о ней столько писалось, — я скажу еще о «Курантах Любви» Кузмина. Одновременно с ними автором писалась к ним и музыка, и это положило на них отпечаток какого-то особого торжества и нарядности, доступной только чистым звукам. Стих льется, как струя густого, душистого и сладкого меда, веришь, что только он — естественная форма человеческой речи, и разговор или прозаический отрывок после кажутся чем-то страшным, как шепот в тютчевскую ночь, как нечистое заклинание. Эта поэма составлена из ряда лирических отрывков, гимнов любви и о любви. Ее слова можно повторять каждый день, как повторяешь молитву, вдыхаешь запах духов, смотришь на цветы. Я приведу из нее один отрывок, который совершенно зачаровывает наше представление о завтрашнем дне, делает его рогом изобилия:

Любовь расставляет сети
 Из крепких шелков;
 Любовники, как дети,
 Ищут оков.

Вчера ты любви не знаешь,
 Сегодня весь в огне.
 Вчера меня отвергаешь,
 Сегодня клянешься мне.

Завтра полюбит любивший
 И не любивший вчера,
 Придет к тебе не бывший
 Другие вечера.

Полюбит, кто полюбит,
 Когда настанет срок,
 И будет то, что будет,
 Что приготовил нам рок.

Мы, как малые дети,
 Ищем оков

И слепо падаем в сети
Из крепких шелков.

Так искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый поденщик, не как сварливый брызга, а как равный к равному.

IV

На днях прекратил свое существование журнал «Весы», главная цитадель русского символизма. Вот несколько характерных фраз из заключительного манифеста редакции, напечатанного в № 12:

«“Весы” были шлюзой, которая была необходима до тех пор, пока не слились два идейных уровня эпохи, и она становится бесполезной, когда это достигнуто наконец ее же действием. Вместе с победой идей символизма в той форме, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться “Весами”, ненужным становится и сам журнал. Цель достигнута, и eo ipso средство бесцельно! Растут иные цели!»

«Мы не хотим сказать этим, что символическое движение умерло, что символизм перестал играть роль идейного лозунга нашей эпохи»... «Но завтра то же слово станет иным лозунгом, загорится иным пламенем, и оно уже горит по-иному над нами».

Со всем этим нельзя не согласиться, особенно если дело коснется поэзии. Русский символизм, представленный полнее всего «Весами», независимо от того, что он явился неизбежным моментом в истории человеческого духа, имел еще назначение быть бойцом за культурные ценности, с которыми от Писарева до Горького у нас обращались очень бесцеремонно. Это назначение он выполнил блестяще и внушил дикарям русской печати если не уважение к великим именам и идеям, то по крайней мере страх перед ними. Но вопрос, надо ли ему еще существовать как литературной школе, сейчас имеет слишком мало надежд быть разрешенным, потому что символизм создан не могучей волей одного лица, как «Парнас» волей Леконта де Лиля, и не был результатом общественных переворотов, как романтизм, но явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление. Так что устаревшим он окажется только тогда, когда человечество откажется от этого тезиса — и откажется не только на бумаге, но всем своим существом. Когда это случится, предоставляю судить философам. Теперь же мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, это только достоверяемый мною факт.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИДВОРНЫЙ ПОЭТ

Он был ленив, этот король нашего века, ленив и беспечен не меньше, чем его предки; и он никак не мог собраться подписать отставку и приличную пожизненную пенсию старому поэту, сочинявшему оды на торжественные случаи придворной жизни. А сам поэт упорно не хотел уходить.

Когда рождался или умирал кто-нибудь из королевской семьи, приезжал чужеземный посол или заключался союз с соседней державой, после всех обычных церемоний двор сходился в тронную залу и хмурый, вечно чем-то недовольный поэт начинал свои стихи. Странно звучали обветшалые слова и вышедшие из моды выражения, и жалок был парик пудренный старинного фасона посреди безукоризненных английских проборов и величаво сияющих лысин. Аплодисменты после чтения тоже были предусмотрены этикетом, и, хотя хлопали только концами затянутых в перчатки пальцев, все-таки получался шум, который считали достаточным для поощрения поэзии.

Поэт низко кланялся, но лицо его было хмуро и глаза унылы, даже когда он получал из королевских рук обычный перстень с драгоценным камнем или золотую табакерку.

Потом, когда начинался парадный обед, он снимал свой парик и, сидя посреди старых сановников, говорил, как и те, о концессиях на железные дороги, о последней краже в министерстве иностранных дел и очень интересовался проектом налогов на соль.

И, отдав, как это было установлено, королевский подарок казначею взамен крупной суммы денег, он возвращался в свой большой и неудобный дом, доставшийся ему от отца, тоже придворного поэта; покойный король сделал эту должность наследственной, чтобы раз навсегда установить в ней порядок и отстранить от нее выскочек.

Дом был угрюм и темен, как душа его владельца. По вечерам освещался только кабинет, где на стенах вместо книг были расставлены витрины с редкими табакерками. Старый поэт был страстным коллекционером.

Давно, давно он был женат, и тогда в этом доме шелестели шелковые платья, тонкие руки с любовью переворачивали страницы красиво переплетенных книг, и стенные гобелены удивлялись розовости кожи в легком вырезе пеньюара. Но и года не могла прожить здесь жена придворного поэта: убежала с каким-то молодым и неизвестным художником. Поэт начал поэму в мрач-

ном байроновском стиле, где должно было говориться о счастье мести, но как раз в это время умер двоюродный дядя короля, потребовалось написать по этому поводу элегию, и после уже не было охоты возвращаться к начатой поэме.

Потянулись годы, строгие и скучные, как затянутые в мундиры камергеры, и единственными событиями которых были приобретения все новых и новых табакерок.

И хотя всякий знает, что чем дольше затишье, тем сильнее гроза, все же, если бы придворному поэту предсказали, как кончится его служба, он нахмурился бы еще мрачнее, негодующим презрением отвечая на предсказание, как на неуместную шутку.

Началом всего, конечно, надо считать парадный обед по случаю приезда испанского принца, когда в числе приглашенных, сидевших вблизи поэта, был сановник прошлого царствования — дряхлый, седой и беззубый. Он почему-то очень заинтересовался предыдущим чтением стихов, которых он, конечно, не мог слышать из-за своей глухоты, и долго говорил, что в них надо переделать предпоследнюю строчку, а потом, вдруг захихикав, повторил остроту, услышанную им, должно быть, от его правнука, что поэтов решено заменить граммофонами.

Поэт, слушавший его рассеянно и мечтавший присоединиться к соседнему разговору о функциях нового ордена, может быть, и простил бы старику его дерзкую шутку, если бы не заметил, что король глядит в их сторону и смеется. Он ответил зло и резко и тотчас по окончании обеда возвратился домой, раздраженный более обыкновенного. А на следующее утро в его сердце созрело твердое решение. Его слуга целый день бегал по книжным магазинам, покупая для него стихи других поэтов, «городских», как прежде он их называл с презрительной усмешкой. И два месяца в кабинете с забытыми ныне табакерками шла напряженная и тайная работа. Придворный поэт учился у своих младших братьев и перенимал манеру письма.

А при дворе было все спокойно, и никто не подозревал, что готовится в хмуром доме на краю города. Влюблялись и ссорились, низкопоклонничали и совершали подвиги благородства, но искренне думали, что поэзия — это только пережиток старинных, слишком торжественных обычаев. Наконец наступил знаменательный день. Принцесса крови выходила замуж, понадобились стихи, и об этом дали знать придворному поэту.

Он явился угрюмый и нелюдимый, как всегда; только наблюдательный взгляд мог заметить что-то новое в легкой, недоброй усмешке, трепетавшей в концах его губ, и в особой нервности, с

которой он сжимал приготовленные стихи. Но кому было дело до него и до перемены его настроения? Для молодежи он был слишком стар, а сановники высших степеней, несмотря на всю свою учтивость, не могли смотреть на него, как на равного.

Приступили к церемонии. Величавый священник изящно и быстро совершил обряд венчания, иностранные послы приложились к руке новобрачной, и поэт, бледный, но решительный, начал чтение. Смутный шепот пробежал в толпе придворных. Даже самые молодые, вечно в кого-нибудь влюбленные фрейлины с удивлением подняли головы и прислушались.

Как? Где же обращение к богу ветров, к орлам, изумленному миру и прочие цветы старинного красноречия? Стихи были совсем новые, может быть прекрасные, но во всяком случае не предусмотренные этикетом. Похожие на стихи городских поэтов, столь нелюбимых при дворе, они были еще ярче, еще увлекательнее, словно долго сдерживаемый талант придворного поэта вдруг создал все, от чего он так долго и упорно отрекался. Стремительно выбегали строки, нагоняя одна другую, с медным звоном вставали, как белые призраки из глубины неведомых пропастей. Взоры старого поэта сверкали, как у парящего орла, и, как орлиный крик, звучал его голос.

Какой скандал! В присутствии всего двора, в присутствии самого короля осмелиться прочитать хорошие стихи. Ни у кого не хватило духа аплодировать. Сурово перешептывались камергеры, молодые камер-юнкеры принимали утрированно-солидный вид, и шокированные дамы с негодующим удивлением поднимали тонко вырисованные брови. А король недовольным жестом отложил в сторону уже приготовленный для награды перстень.

Одиноким, словно зачумленным, вышел придворный поэт, не дожидаясь окончания торжества, и слышал, как великий канцлер приказывал секретарю приготовить указ об его отставке.

Но зато как сладко было возвращаться домой и остаться совсем одному. С гордостью ходил он по анфиладе вечерних зал и то громко декламировал свои последние стихи, то с лукавой старческой усмешкой поглядывал на книги городских поэтов. Он знал, что он не только сравнился с ними, но и превзошел их. Наконец, желая поделиться с кем-нибудь своей радостью, он написал письмо своей жене — первое со времени их разрыва. С выражениями полного торжества он говорил, что наконец-то ему не аплодировали; сообщил о своей отставке, приложил список стихов и в конце добавил с вполне понятной гордостью: «И такого человека — ты покинула!»

СОВРЕМЕННОСТЬ

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна,
 На губах трепетало последнее слово,
 Что-то ярко светило — фонарь иль луна,
 И медлительно двигалась тень часового.

Я так часто бросал испытующий взор
 И так много встречал отвечающих взоров,
 Одиссеев во мгле паровозных контор,
 Агамемнонов между трактирных маркеров.

Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
 Застывают в серебряных льдах мастодонты,
 Их глухая тоска там колышет снега,
 Красной кровью — ведь их — зажжены горизонты.

Я печален от книги, томлюсь от луны,
 Может быть, мне совсем и не надо героя,
 Вот идут по аллее, так странно нежны,
 Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

ВЕЧЕР

Как этот ветер грузен, не крылат!
 С надтреснутою дыней схож закат,

И хочется подтолкнуть слегка
 Катящиеся вяло облака.

В такие медленные вечера
 Коней карьером гонят кучера,

Сильней веслом рвут воду рыбаки,
 Ожесточенней рубят лесники

Огромные, кудрявые дубы...
 А те, кому доверены судьбы

Вселенского движения и в ком
 Всех ритмов бывших и небывших дом,

Слагают окрыленные стихи,
 Расковывая косный сон стихий.



Об Адонисе с лунной красотой,
 О Гиацинте тонком, о Нарциссе
 И о Данае, туче золотой,
 Еще грустят аттические выси.

Грустят валы ямбических морей,
 И журавлей кочующие стаи,
 И пальма, о которой Одиссей
 Рассказывал смущенной Навзикае.

Печальный мир не очаруют вновь
 Ни кудри душные, ни взор призывный,
 Ни лепестки горячих губ, ни кровь,
 Стучавшая торжественно и дивно.

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь...
 И ты, о нежная, чье имя — пенье,
 Чье тело — музыка, и ты идешь
 На беспощадное исчезновение.

Но мне, увы, неведомы слова —
 Землетрясения, громы, водопады,
 Чтоб и по смерти ты была жива,
 Как юноши и девушки Эллады.

НАСЛЕДИЕ СИМВОЛИЗМА И АКМЕИЗМ

Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабые даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций, и то, что появились футуристы, эго-футуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом*. На смену символизма идет новое направление, как

* Пусть не подумает читатель, что этой фразой я ставлю крест над всеми крайними устремлениями современного искусства. В одной из ближайших книжек «Аполлона» их разбору и оценке будет посвящена особая статья (прим. авт.).

бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова *ακμή*) — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом.

Французский символизм, родоначальник всего символизма как школы, выдвинул на передний план чисто литературные задачи: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, метафору, вознесенную превыше всего, и пресловутую «теорию соответствий». Последнее выдает с головой его не романскую и, следовательно, не национальную, наносную почву. Романский дух слишком любит стихию света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию; эта же символическая слиянность всех образов и вещей, изменчивость их облика могла родиться только в туманной мгле германских лесов. Мистик сказал бы, что символизм во Франции был прямым последствием Седана. Но, наряду с этим, он вскрыл во французской литературе аристократическую жажду редкого и труднодостижимого и таким образом спас ее от угрожающего ей вульгарного натурализма.

Мы, русские, не можем не считаться с французским символизмом хотя бы потому, что новое течение, о котором я говорил выше, отдает решительное предпочтение романскому духу перед германским. Подобно тому, как французы искали новый, более свободный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов, более, чем когда-либо, свободной перестановкой ударений, и уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения. Головокружительность символических метафор приучила их к смелым поворотам мысли; зыбкость слов, к которым они прислушивались, побудила искать в живой народной речи новых — с более устойчивым содержанием; и светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры, — ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, — стала теперь на место той безнадежной, немецкой серьезности, которую так возлелеяли наши символисты. Наконец, высоко ценя символистов за то, что они указали нам на значение в искусстве символа, мы не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия и ищем их полной согласованности. Этим мы отве-

чаем на вопрос о сравнительной «прекрасной трудности» двух течений: акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления — всегда идти по линии наибольшего сопротивления.

Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена выдвигал вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе и разрешал его, находя какую-нибудь объективную цель или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось, что германский символизм не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки неизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все явления брата.

Мы не решились бы заставить атом поклоняться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть — занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению. Но тут время говорить русскому символизму.

Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа. И он вправе спросить идущее ему на смену течение, только ли звериными добродетелями оно может похвастать и какое у него отношение к непознаваемому. Первое, что на такой вопрос может ответить

акмеизм, будет указанием на то, что непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Второе — что все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе. Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наши прежние существования (если это не явно литературный прием), когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют? Ведь каждая из них отрицается нашим бытием и в свою очередь отрицает его. Детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое. Франсуа Виллон, спрашивая, где теперь прекраснейшие дамы древности, отвечает себе горестным восклицанием:

...Mais ou sont les neiges d'antan!¹

И это сильнее дает нам почувствовать нездешнее, чем целые томы рассуждений, на какой стороне луны находятся души усопших... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя право изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться. Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художников и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы.

Всякое направление испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие,

¹ Но где же прошлогодний снег! (фр.).

Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собой людей, так смело назвавших себя акмеистами.

ТВОРЧЕСТВО

Моим рожденные словом
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.

О, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог,
И пальцы зари бродили
По мне, когда я прилег.

Проснулся, когда был вечер,
Вставал туман от болот,
Тревожный и теплый ветер
Дышал из южных ворот.

И стало мне вдруг так больно,
Так жалко мне стало дня,
Своею дорогой вольной
Прошедшего без меня...

Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать
Мою зловещую эту
Ночных видений тетрадь.

КАНЦОНА ТРЕТЬЯ

Как тихо стало в природе,
Вся — зренье она, вся — слух,
К последней, страшной свободе
Склонился уже наш дух.

Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,

И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.

И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.

Тогда я воскликну: «Где же
Ты, созданная из огня?
Ты видишь, взоры все те же,
Все та же песнь у меня.

Делюсь я с тобою властью,
Слуга твоей красоты,
За то, что полное счастье,
Последнее счастье — ты!»

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Нос — это дерева ствол высокий;
Две тонкие дуги бровей
Над ним раскинулись, широки,
Изгибом пальмовых ветвей.

Два вещих сирина, два глаза,
Под ними сладостно поют,
Велеречивостью рассказа
Все тайны духа выдают.

Открытый лоб — как свод небесный,
И кудри — облака над ним;
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья дерева,
Уста — как некий райский цвет,

Из-за какого мать Ева
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.

МОЙ ЧАС

Еще не наступил рассвет,
Ни ночи нет, ни утра нет,
Ворона под моим окном
Спросонья шевелит крылом,
И в небе за звездой звезда
Истаивает навсегда.

Вот час, когда я все могу:
Проникнуть помыслом к врагу
Беспомощному и на грудь
Кошмаром гривистым вскакнуть.
Иль в спальню девушки войти,
Куда лишь ангел знал пути,
И в сонной памяти ее,
Лучом прорезав забытье,
Запечатлеть свои черты,
Как символ высшей красоты.

Но тихо в мире, тихо так,
Что внятен осторожный шаг
Ночного зверя и полет
Совы, кочевницы высот.
А где-то пляшет океан,
Над ним белесый встал туман,
Как дым из трубки моряка,
Чей труп чуть виден из песка.
Передрассветный ветерок
Струится, весел и жесток,
Так странно весел, точно я,
Жесток — совсем судьба моя.
Чужая жизнь — на что она?
Свою я выпью ли до дна?

Пойму ль всей волею моей
 Единый из земных стеблей?
 Вы, спящие вокруг меня,
 Вы, не встречающие дня,
 За то, что пощадил я вас
 И одиноко сжег свой час,
 Оставьте завтрашнюю тьму
 Мне также встретить одному.

ЧИТАТЕЛЬ

Поэзия для человека — один из способов выражения своей личности и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям. Все, что говорится о поэтичности какого-нибудь пейзажа или явления природы, указывает только на пригодность их в качестве поэтического материала или намекает на очень отдаленную аналогию в анимистическом духе между поэтом и природой. То же относится и к поступкам или чувствам человека, не воплощенным в слове. Они могут быть прекрасными, как впечатление, даваемое поэзией, но не станут ею, потому что поэзия заключает в себе далеко не все прекрасное, что доступно человеку. Никакими средствами стихотворной фонетики не передать подлинного голоса скрипки или флейты, никакими стилистическими приемами не воплотить блеска солнца, веяния ветра.

Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, — он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия — от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший «трав неясный запах», хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем

«была звездная книга ясна» и «с ним говорила морская волна». Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены. Эти два чувства бывают и у плохих поэтов. Изучение техники заставляет их являться реже, но давать большие результаты.

Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы. И типографским (прежде каллиграфическим) путем, начиная каждую строку с большой буквы, и звуковым ясно слышимым ритмом, рифмой, аллитерацией, и стилистически, создавая особый «поэтический» язык (трубадуры, Ронсар, Ломоносов), и композиционно, достигая особой краткости мысли, и эйдолологически в выборе образов. И повсюду проза следовала за ней, утверждая, что между ними, собственно, нет разницы, подобно бедняку, преследующего своей дружбой богатого родственника. За последнее время ее старания как будто увенчались успехом. С одной стороны, она под пером Флобера, Бодлера, Рембо приобрела манеры избранницы судьбы, с другой, поэзия, помня, что повитка — непременное условие ее существования, неустанно ищет новых и новых средств воздействия и подошла к запретной области в стиле Вордсворда, композиции Байрона, свободном стихе и др. и даже в начертании, раз Поль Фор печатает свои стихи в строку, как прозу.

Я думаю, и невозможно найти точной границы между прозой и поэзией, как не найдем ее между растениями и минералами, животными и растениями. Однако существование гибридных особей не унижает чистого типа. И относительно поэзии ее новейшие исследователи пришли к согласию. В Англии продолжает царить аксиома Кольриджа, определяющая поэзию как «лучшие слова в лучшем порядке». Во Франции мнение Т. де Банвиля: поэма — то, что уже сотворено и не может быть исправлено. А к этим двум мнениям примкнул и Малларме, сказавший: «Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля».

Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда некий мистический собеседник, еще не явившийся друг или возлюбленная, иногда это Бог, Природа, Народ...

Это — в минуту творчества. Однако ни для кого, а для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе живого реального читателя среди современников, порой потомков. Этот читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это он дал нам возможность читать Гомера, Данте и Шекспира. Кроме того, никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим поэтам, тоже только читатель. Однако все мы подобны человеку, выучившемуся иностранному языку по учебникам. Мы можем говорить, но не понимаем, когда говорят с нами. Неисчислимы руководства для поэтов, но руководств для читателей не существует. Поэзия развивается, направления в ней сменяются направлениями, читатель остается все тем же, и никто не пытается фонарем познания осветить закоулки его темной читательской души. Этим мы сейчас и займемся.

Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет; один — потому, что дослужился до чина полковника, другой — потому, что написал книгу о минералогии, третий — потому, что знает, что тут хитрости никакой нет: «Нравится — значит хорошо, не нравится — значит плохо; ведь поэзия — язык богов, ergo, я могу о ней судить совершенно свободно». Таково общее правило, но в дальнейшем своем отношении читатели разделяются на три основные типа: наивный, сноб и экзальтированный. Наивный ищет в поэзии приятных воспоминаний: если он любит природу — он порицает поэтов, не говорящих о ней, если он социалист, Дон Жуан или мистик — он ищет стихов по своей специальности. Он хочет находить в стихах привычные ему образы и мысли, упоминания о вещах, которые ему нравятся. О своих впечатлениях он говорит мало и обыкновенно ничем не мотивирует своих мнений. В общем, довольно добродушный, хотя и подвержен припадкам слепой ярости, как всякое травоядное. Распространен среди критиков старого закала.

Сноб считает себя просвещенным читателем: он любит говорить об искусстве поэта. Обыкновенно он знает о существовании какого-нибудь технического приема и следит за ним при чтении стихотворения. Это от него вы услышите, что X — великий поэт потому, что вводит сложные ритмы, Y — потому, что создает новые слова, Z — потому, что волнует путем повторений. Он выражает свои мнения пространно и порой интересно, но, учитывая один, редко два или три приема, неизбежно ошибается самым плачевным образом. Встречается исключительно среди критиков новой школы.

Экзальтированный любит поэзию и ненавидит поэтику. В прежнее время он встречался в других областях человеческого духа. Это он требовал сожжения первых врачей, анатомов, дерзающих раскрыть тайну Божьего создания. Был он и среди моряков, освистывавших первый пароход, потому что мореплавателю должен молиться Деве Марии о даровании благоприятного ветра, а не жечь какие-то дрова, чтобы заставить вертеться какие-то колеса. Вытесненный отовсюду, он сохранился только среди читателей стихов. Он говорит о духе, цвете и вкусе стихотворения, о его чудесной силе или, наоборот, дряблости, о холодности или теплоте поэта. Встречается редко, вытесняемый все больше и больше двумя первыми типами, и то среди самих поэтов.

Картина безотрадная, не правда ли? И если поэтическое творчество есть оплодотворение одного духа другим посредством слова, подобное оплодотворению естественному, то это напоминает любовь ангелов к каиниткам, или, что то же самое, — простое скотоложство. Однако может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем ему говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его интонациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как лишь ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией. Для него стихотворение дорого во всей его материальной прелести, как для псалмопевца слюни его возлюбленной и покрытое волосами лоно. Его не обманешь частичными достижениями, не подкупишь симпатичным образом. Прекрасное стихотворение входит в его сознание как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я, по крайней мере, видел одного. И я думаю, если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими.

Если бы я был Беллами, я бы написал роман из жизни читателя грядущего. Я бы рассказал о читательских направлениях и о борьбе, о читателях-врагах, обличающих недостаточную божественность поэтов, о читателях, подобных д'аннунциевской Джиконде, о читателях Елены Спартанской, для завоевания которых надо превзойти Гомера. По счастью, я не Беллами, и одним плохим романом будет меньше.

То, чего читатель вправе и поэтому должен требовать от поэта, и составит предмет этой книги. Но поэтов она не научит пи-

сать стихи, подобно тому, как учебник астрономии не научит создавать небесные светила. Однако и для поэтов она может служить для проверки своих уже написанных вещей и в момент, предшествующий творчеству, даст возможность взвесить, достаточно ли насыщено чувство, созрел образ и сильно волнение, или лучше не давать себе воли и приберечь силы для лучшего момента. Писать следует не тогда, когда можно, а когда должно. Слово «можно» следует выкинуть из всех областей исследования поэзии.

Делакруа говорил: «Надо неустанно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества». Действительно, надо или совсем ничего не знать о технике, или знать ее хорошо. Шестнадцатилетний Лермонтов написал «Ангела» и только через десять лет мог написать равное ему стихотворение. Но зато «Ангел» был один, а все стихи Лермонтова 40-го и 41 года прекрасны. Стихотворение, как Афина Паллада, явившаяся из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становится особым организмом. И, как всякий живой организм, оно имеет свою анатомию и физиологию. Прежде всего мы видим сочетание слов, этого мяса стихотворения. Их свойство и качество составляют предмет стилистики. Затем мы видим, что эти сочетания слов, дополняя одно другое, ведут к определенному впечатлению, и замечаем костяк стихотворения, его композицию. Затем мы выясняем себе всю природу образа, то ощущение, которое побудило поэта к творчеству, нервную систему стихотворения и таким образом овладеваем эйдологией. Наконец (хотя все это делается одновременно), наше внимание привлекает звуковая сторона стиха (ритм, рифма, сочетание гласных и согласных), которая, подобно крови, переливается в его жилах, и мы уясняем себе его фонетику. Все эти качества присущи каждому стихотворению, самому гениальному и самому дилетантскому, подобно тому как можно анатомировать живого и мертвеца. Но физиологические процессы в организме происходят лишь при условии его некоторого совершенства, и, подробно анатомировав стихотворение, мы можем только сказать — есть ли в нем все, что надо, и в достаточной мере, чтобы оно жило.

Законы же его жизни, то есть взаимодействие его частей, надо изучать особо, и путь к этому еще почти не проложен.

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем,
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем,

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь?—
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

VI

КОЛОКОЛ

Медный колокол на башне
Тяжким гулом загудел,
Чтоб огонь горел бесстрашной,
Чтобы бешеные люди
Праздник правили на груди
Изуродованных тел.

Звук помчался в дымном поле,
Повторяя слово «смерть».
И от ужаса и боли
В норы прятались лисицы,
А испуганные птицы
Летом взрезывали твердь.

Дальше звал он, точно пенье,
К созидающей борьбе.
Люди мирного селенья,
Люди плуга брали молот,

Презирая зной и холод,
Храмы строили себе.

А потом он умер, сонный,
И мечтали пастушки:
— Это, верно, бог влюбленный,
Приближаясь к светлой цели,
Нежным рокотом свирели
Опечалил тростники.

ИМПЕРАТОР КАРАКАЛЛА

I

Призрак какой-то неведомой силы,
Ты ль указавший законы судьбе,
Ты ль, император, во мраке могилы
Хочешь, чтоб я говорил о тебе?

Горе мне! Я не трибун, не сенатор,
Я только бедный бродячий певец,
И для чего, для чего, император,
Ты на меня возлагаешь венец?

Заперты мне все богатые двери,
И мои бедные сказки-стихи
Слушают только бездомные звери
Да на высоких горах пастухи.

Старый хитон мой изодран и черен,
Очи не зорки, и голос мой слаб,
Но ты сказал, и я буду покорен,
О император, я верный твой раб!

II

Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы был ты властелином,
Если б не был ты самим собой!

Любопытно-вдумчивая нежность
Словно тень на царственных устах,
Но какая дикая мятежность
Затаилась в сдвинутых бровях!

Образы властительные Рима,
Цезарь, Юлий Август и Помпей —
Это тень, бледна и еле зрима,
Перед тихой тайною твоей.

Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.

Жадность снов в тебе неуголима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.

Но к чему тебе победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц,
Если, точно золото на черни,
Видны ноги стройных танцовщиц?

Страстная, как юная тигрица,
Нежная, как лебедь сонных вод,
В темной спальне ждет императрица,
Ждет, дрожа, того, кто не придет.

Там, в твоих садах, безгрешность неба,
Звезды разбросались, как в бреду,
Там, быть может, ты увидел Феба,
Трепетно бродящего в саду.

Как и ты, стрелюю снов пронзенный,
С любопытным взором он застыл
Там, где дремлет с Нила привезенный
Темно-изумрудный крокодил.

Словно прихотливые камеи,
Тихие, пустынные сады,
С темных пальм в траву свисают змеи,
Зреют небывалые плоды.

Беспокоен смутный сон растений,
Плавают туманы, точно сны,
В них ночные бабочки, как тени,
С крыльями жемчужной белизны.

И, великой мукою вселенной
На минуту грудь свою омыв,
Ты стоишь божественно-надменный,
Император, ты счастлив.

А потом в твоём зеленом храме,
Медленно, как следует царю,
Ты красиво-мерными стихами
Вызываешь новую зарю.

III

Мореплаватель Павзаний
С берегов далеких Нила
В Рим привез и шкуры ланей,
И египетские ткани,
И большого крокодила.

Это было в дни безумных
Извращений Каракаллы,
Бог веселых и бездумных
Изукрасил цепью шумных
Толп причудливые скалы.

В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила.

Суетились у галеры
Бородатые скитальцы,
И изящные гетеры
Поднимали в честь Венеры
Точно мраморные пальцы.

И какой-то сказкой чудной,
Нарушителем гармоний,

Крокодил сверкал у судна
Чешуею изумрудной
На серебряном понтоне.

ОСНОВАТЕЛИ

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был глух и нем;
Ромул сказал: «Здесь будет город».
«Город, как солнце», — ответил Рем.

Ромул сказал: «Волей созвездий
Мы обрели наш древний почет».
Рем отвечал: «Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед».

«Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы», — ответил Рем.

МАНЛИЙ

Манлий сброшен. Право Рима,
Власть все та же, что была,
И как прежде недвижима
Нерушимая скала.

Рим, как море, волновался,
Разрезали вопли тьму,
Но спокойно улыбался
Низвергаемый к нему.

Чтоб простить его, пришлось бы
Слушать просьбы многих губ...
И народ в ответ на просьбы
Получил холодный труп.

Манлий сброшен! Почему же
Шум на улицах растет?
Как жена, утратив мужа,
Мести требует народ.

Семь холмов как звери хмуры,
И смущенные стоим
Мы, сенаторы, авгуры,
Чьи отцы воздвигли Рим.

Неужель не лгали басни,
И гробы грозят бедой?
Манлий мертв, но он опасней,
Он страшнее, чем живой.

ВАРВАРЫ

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица, нагою.

Трубили герольды. По ветру рвалися знамена,
Как листья осенние, прелые, бурые листья,
Роскошные груди восточных шелков и виссона
С краев украшали литые из золота кисти.

Царица была как пантера суровых безлюдий,
С глазами — провалами темного дикого счастья,
Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди,
На смуглых руках и ногах трепетали запястья.

И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни:
«Спешите, герои, несущие луки и пращи,
Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней,
Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще.

Спешите, герои, окованы медью и сталью,
Пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди,
И бешенством ваши нальются сердца и печалью
И будут красней виноградных пурпуровых гроздий.

Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ,
Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
Герольд протрубит, не щадите заветных сокровищ».

Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей,
На бронзовом блюде рабы протянули герольду,
Но варвары севера хмурили гордые брови,
Они вспоминали скитанья по снегу и по льду.

Они вспоминали холодное небо и дюны,
В зеленых трупобах веселые щебеты птичьи,
И царственно-синие женские взоры... и струны,
Которыми скалды гремели о женском величье.

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.

СОН АДАМА

От плясок и песен усталый Адам
Заснул, неразумный, у Древа Познания,
Над ним ослепительных звезд трепетанья,
Лиловые тени скользят по лугам,
И дух его сонный летит над лугами,
Внезапно настигнут зловецами снами.

Он видит пылающий ангельский меч,
Что жалит нещадно его и подругу
И гонит из рая в суровую вьюгу,
Где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч...
Как звери, должны они строить жилище,
Пращой и дубиной искать себе пищи.

Обитель труда и болезней... но здесь
Впервые постиг он с подругой единство,
Подруге — блаженство и боль материнства,
И заступ ему, чтобы вскапывать весь,
Служеньем Иному прекрасны и грубы,
Нахмурены брови и стиснуты губы.

Вот новые люди... очерчен их рот,
Их взоры не блещут, и смех их случаен,
За вебрями сильный охотится Каин,
И Авель собирает маслины и мед,

Но воле не служат они патриаршей,
Пал младший, и в ужасе кроется старший.

И многое видит смущенный Адам:
Он тонет душою в распутстве и неге,
Он ищет спасенья в надежном ковчеге
И строится снова, суров и упрям,
Медлительный пахарь, и воин, и всадник...
Но Бог охраняет его виноградник.

На бурный поток наложил он узду,
Бессонною мыслью постиг равновесье,
Как ястреб, врзается он в поднебесье,
У косной земли отнимает руду,
Покорны и тихи, хранят ему книги
Напевы поэтов и тайны религий.

И в ночь волхований на пышные мхи
К нему для объятий нисходят сильфиды,
К услугам его отомщать за обиды
И звездные духи, и духи стихий,
И к солнечным скалам из грозной пучины
Влекут его челн голубые дельфины.

Он любит забавы опасной игры —
Искать в океанах безвестные страны,
Ступать безрассудно на волчьи поляны
И видеть равнину с высокой горы,
Где с узких тропинок срываются козы
И душные, красные клонятся розы.

Он любит и скрежет стального резца,
Дробящего глыбистый мрамор для статуй,
И девственный холод зари розовой,
И нежный овал молодого лица, —
Когда на холсте под ударами кисти
Ложатся они и светлей и лучистей.

Устанет и к небу возводит свой взор,
Слепой и кощунственный взор человека,
Там, Богом раскинут от века до века,
Мерцает над ним многозвездный шатер,
Святыми ночами, спокойный и строгий,
Он клонит колена и грезит о Боге.

Он новые мысли, как светлых гостей,
Всегда ожидает из розовой дали,
А с ними, как новые звезды, — печали
Еще неизведанных дум и страстей,
Провалы в мечтаньях и ужас в искусстве,
Чтоб сердце болело от тяжких предчувствий.

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцанье ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.

Так золото манит и радует взгляд,
Но в золоте темные силы таятся,
Они управляют рукой святотатца
И в братские кубки вливают свой яд,
Не в силах насытить, смеются и мучат
И стонам и крикам неистовым учат.

Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями соблазна,
Вот Ева блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева святая с печалью очей,
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

И он, наконец, беспредельно устал,
Устал и смеяться и плакать без цели,
Как лебеди, стаи веков пролетели,
Играли и пели, он их не слышал,
Спокойный и строгий на мраморных скалах,
Он молится Смерти, богине усталых:

«Узнай, Благодатная, волю мою,
На степи земные, на море земное,
На скорбное сердце мое заревое
Пролей смертоносную влагу свою,
Довольно бороться с безумьем и страхом,
Рожденный из праха, да буду я прахом!»

И, медленно рея багровым хвостом,
Помчалась к земле голубая комета,

И страшно Адаму, и больно от света,
И рвет ему мозг нескончаемый гром,
Вот огненный смерч перед ним закрутился,
Он дрогнул и крикнул... и вдруг пробудился.

Направо сверкает и пенится Тигр,
Налево — зеленые воды Евфрата,
Долина серебряным блеском объята,
Тенистые отмели манят для игр,
И Ева кричит из весеннего сада —
«Ты спал и проснулся... я рада, я рада».

Итальянские стихи

ГЕНУЯ

В Генуе, в палаццо дождей
Есть старинные картины,
На которых странно схожи
С лебедями бригантины.

Возле них, сойдясь гурьбою,
Моряки и арматоры
Все ведут между собою
Вековые разговоры,

С блеском глаз, с усмешкой важной,
Как живые, неживые...
От залива ветер влажный
Спутал бороды седые.

Миг один, и будет чудо;
Вот один из них, смелея,
Спросит: — «Вы, синьор, откуда,
Из Ливорно иль Пирея?»

Если будете в Брабанте,
Там мой брат торгует летом,
Отвезите бочку кьянти
От меня ему с приветом.» —

РИМ

Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе,
Тебе, увенчанной славой,
По праву привет тебе.

С тобой младенцы, два брата,
К сосцам стремятся припасть.
Они не люди, волчата,
У них звериная масть.

Не правда ль, ты их любила,
Как маленьких, встарь, когда,
Рыча от бранного пыла,
Сжигали они города.

Когда же в царство покоя
Они умчались, как вздох,
Ты, долго и страшно воя,
Могилу рыла для трех.

Волчица, твой город тот же
У той же быстрой реки.
Что мрамор высоких лоджий,
Колонн его завитки,

И лик Мадонн вдохновенный,
И храм святого Петра,
Покуда здесь неизменно
Зияет твоя нора,

Покуда жесткие травы
Растут из дряхлых камней
И смотрит месяц кровавый
Железных римских ночей?!

И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных,
Косматых звериных лап.

ПИЗА

Солнце жжет высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары!

Все спокойно под небом ясным;
Вот, окончив псалом последний,
Возвращаются дети в красном
По домам от поздней обедни.

Где ж они, суровые громы
Золотой тосканской равнины,
Ненасытная страсть Содомы
И голодный вопль Угодино?

Ах, и мукам счет и уладам
Не веками ведут — годами!
Гибеллины и гвельфы рядом
Задремали в гробах с гербами.

Все проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, темное время
Продолжает жить в настоящем.

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО

В стране, где гиппогриф веселый льва
Крылатого зовет играть в лазури,
Где выпускает ночь из рукава
Хрустальных нимф и венценосных фурий;

В стране, где тихи гробы мертвецов,
Но где жива их воля, власть и сила,
Средь многих знаменитых мастеров,
Ах, одного лишь сердце полюбило.

Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал, Буонаротти,
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонаротти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит,
Ту душу, что поверила в блаженство

На Фьезоле, среди тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке.

На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не все умел он рисовать,
Но то, что рисовал он, — совершенно.

Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, —
Куда он едет, в церковь иль к невесте?
Горит заря на городской стене,
Идут стада по улицам предместий;

Мария держит Сына своего,
Кудрявого, с румянцем благородным,
Такие дети в ночь под Рождество,
Наверно, снятся женщинам бесплодным;

И так не страшен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый,
Им хорошо под нимбом золотым,
И здесь есть свет, и там — иные светы.

А краски, краски — яркие и чисты,
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.

И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном... но напрасно.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

ВИЛЛА БОРГЕЗЕ

Из камня серого иссеченные вазы,
И купы царственные ясени, и бук,
И от фонтанов ввысь летящие алмазы,
И тихим вечером баюкаемый луг.

В аллеях сумрачных затерянные пары
Так по-осеннему тревожны и бледны,
Как будто полночью их мучают кошмары
Иль пенем ангелов сжигают душу сны.

Здесь принцы грезили о крови и железе,
А девы нежные о счастья вдвоем,
Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом...

Но дальше, призраки! Над виллою Боргезе
Сквозь тучи золотом блеснула вышина:
То учит забывать встающая луна.

ФЛОРЕНЦИЯ

О сердце, ты неблагодарно!
Тебе — и розовый миндаль,
И замки древние над Арно,
И запах трав, и в блеске даль.

Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших,
Тебе завещанных обид.

Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора.
Вот грозно встала Синьория
И перед нею два костра.

Один, как шкура леопарда,
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо
Средь благовоний и шелков.

Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: «Вотще Савонаролой
Мой дом державный потрясен».

Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бедный, Алигьери,
Стопой неспешной сходит в ад.

И в содроганьях темной плоти,
И в скорби духа, что погас,
Как Пленников Буонаротти,
Через века он видит нас.

ВЕНЕЦИЯ

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три.
Сердце ночами бесстрашней,
Путник, молчи и смотри.

Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорней аркады,
Воды застыли стеклом.

Верно, скрывают колдуний
Завесы черных гондол
Там, где огни на лагуне
— Тысячи огненных пчел.

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.

А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубинога хора
Вздых, воркованье и плеск.

Может быть, это лишь шутка,
Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг... никого, ничего?

Крикнул. Его не слышали,
Он, оборвавшись, упал
В зыбкие, бледные дали
Венецианских зеркал.

БОЛОНЬЯ

Нет воды вкуснее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
В лунной мгле разносятся признанья,
От цветов струится благовонье.

Лишь фонарь идущего вельможи
На мгновение выхватит из мрака
Между кружев розоватость кожи,
Длинный ус, что крутит забияка.

И его скорей проносят мимо,
А любовь глядит и торжествует.
О, как пахнут волосы любимой,
Как дрожит она, когда целует.

Но вино чем слаще, тем хмельнее,
Дама чем красивей, тем лукавей,
Вот уже уходят ротозеи
В тишине мечтать о высшей славе.

И они придут, придут до света
С мудрой думой о Юстиниане
К темной двери университета,
Векового логовища знаний.

Старый доктор сгорблен в красной тоге,
Он законов ищет в беззаконьи,
Но и он порой волочит ноги
По веселым улицам Болоньи.

ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО

Зеленое, все в пенистых буграх,
Как горсть воды, из океана взятой,
Но пригоршней гиганта чуть разжатой,
Она томится в плоских берегах.

Не блещет плуг на мокрых бороздах,
И медлен буйвол, грузный и рогатый,
Здесь темной думой удручен вожатый,
Здесь зреет хмель, но лавр уже зачах.

Лишь иногда, наскучивши покоем,
С кипеньем, гулом, гиканьем и воем
Оно своих не хочет берегов.

Как будто вновь под ратью Ганнибала
Вздохнули скалы, слышен вой шакала
И трубный голос бешеных слонов.

НА ПАЛАТИНЕ

Измучен огненной жарой,
Я лег за камнем на горе,
И солнце плыло надо мной,
И небо стало в серебре.

Цветы склонялись с высоты
На мрамор брошенной плиты,
Дышали нежно, и была
Плита горячая бела.

И ящер средь горячих трав,
Как странный и большой цветок,
К лазури голову подняв,
Смотрел и двинуться не мог.

Ах, если б умер я в тот миг,
Я твердо знаю, я б проник
К богам, в Элизиум святой,
И пил бы нектар золотой.

А рай оставил бы для тех,
Кто помнит ночь и верит в грех,
Кто тайно каждому стеблю
Не говорит свое «люблю».

НЕАПОЛЬ

Как эмаль, сверкает море,
И багряные закаты
На готическом соборе,
Словно гарпии, крылаты;
Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.

Пахнет рыбой, и лимоном,
И духами парижанки,
Что под зонтиком зеленым
И несет креветок в банке;
А за кучею навоза
Два косматых старика
Режут хлеб... Сальватор Роза
Их провидел сквозь века.

Здесь не жарко, с моря веют
Белобрысые туманы,
Все хотят и все не смеют
Выйти в полночь на поляны,
Где седые, грозовые
Скалы высятся венцом,
Где засела малярия
С желтым бешеным лицом.

И, как птица с трубкой в клюве,
Поднимает острый гребень,
Сладко нежится Везувий,
Расплескавшись в сонном небе.

Бьются облачные кони,
 Поднимаясь на зенит,
 Но, как истый лаццарони,
 Все дымит он и храпит.

ПАДУАНСКИЙ СОБОР

Да, этот храм и дивен и печален,
 Он — искушенье, радость и гроза,
 Горят в окошечках исповедален
 Желаньем истомленные глаза.

Растет и падает напев органа
 И вновь растет полнее и страшней,
 Как будто кровь, бунтующая пьяно
 В гранитных венах сумрачных церквей.

От пурпура, от мучеников томных,
 От белизны их обнаженных тел,
 Бежать бы из-под этих сводов темных,
 Пока соблазн душой не овладел.

В глухой таверне старого квартала
 Сесть на террасе и спросить вина,
 Там от воды приморского канала
 Совсем зеленой кажется стена.

Скорей! Одно последнее усилие!
 Но вдруг слабеешь, выходя на двор, —
 Готические башни, словно крылья,
 Католицизм в лазури распростер.

ОДА Д'АННУНЦИО

К его выступлению в Генуе

Опять волчица на столбе
 Рычит в огне багряных светов...
 Судьба Италии — в судьбе
 Ее торжественных поэтов.

Был Августов высокий век,
 И золотые строки были;

Спокойней величавых рек,
С ней разговаривал Виргилий.

Был век печали; и тогда,
Как враг в ее стучался двери,
Бежал от мирного труда
Изгнанник бледный, Алигьери.

Униженная до конца,
Страна, веселием объята,
Короновала мертвеца
В короновании Торквата.

И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
К которой завистью полны
И Александр и Агамемнон,

Когда все лучшее, что в нас
Таилось скупое и суровое,
Вся сила духа, доблесть рас,
Свои разрушило оковы —

Слова: «Встает великий Рим,
Берите ружья, дети горя» ...
— Грозней громов; внимая им,
Толпа взволнованнее моря.

А море синей пеленой
Легло вокруг, как мощь и слава
Италии, как щит святой
Ее стариннейшего права.

А горы стыннут в небесах,
Загадочны и незнакомы,
Там зреют молнии в лесах,
Там чутко притаились громы.

И, конь встающий на дыбы,
Народ поверил в правду света,
Вручая страшные судьбы
Рукам изнеженным поэта.

И все поют, поют стихи
О том, что вольные народы
Живут, как образы стихий,
Ветра, и пламени, и воды.

СТАРЫЕ УСАДЬБЫ

Дома косые, двухэтажные,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розы,
В прудах зацветших караси,
— Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Порою в полдень льется по лесу
Неясный гул, невнятный крик,
И угадать нельзя по голосу,
То человек иль лесовик.

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, — то значит, по течению
В село икона приплыла.

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя свое, живя своим.

Вот, гордый новою поддевкою,
Идет в гостиную сосед.
Поникнув русою головкою,
С ним дочка — восемнадцать лет.

— «Моя Наташа бесприданница,
Но не отдам за бедняка». —
И ясный взор ее туманится,
Дрожа, сжимается рука.

— «Отец не хочет... нам со свадьбою
Опять придется погодить». —
Да что! В пруду перед усадьбою
Русалкам бледным плохо ль жить?

В часы весеннего томления
И пляски белых облаков,
Бывают головокружения
У девушек и стариков.

Но старикам — золотоголовые,
Святые, белые скиты,
А девушкам — одни лукавые
Увещеванья пустоты.

О Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?

И не расстаться с амулетами,
Фортуна катит колесо,
На полке рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус и Руссо.

НОВОРОЖДЕННОМУ С. Л.

Вот голос томительно-звонок...
Зовет меня голос войны,
Но я рад, что еще ребенок
Глотнул воздушной волны.

Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи,
И он искупит перед Богом
Многие наши грехи.

Когда от народов, титанов
Сразившихся дрогнула твердь
И в грохоте барабанов,
И в трубном рычании — смерть, —

Лишь он сохраняет семя
Грядущей мировой весны,
Ему обещает время
Осуществленные сны.

Он будет любимец Бога,
Он поймет свое торжество,
Он должен. Мы бились много
И страдали мы за него.

20 июля 1914

ВТОРОЙ ГОД

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?

Иль зори будущие, ясные
Увидят мир таким, как встарь;
Огромные гвоздики красные,
И на гвоздиках спит дикарь.

Мы будем делать, что нам велено!
Труба, реви, ружье, стреляй,
Граната, рой в земле расщелины,
Подготавливая новый рай.

И ты светись, заря зловещая,
Пугая и чаруя нас:
Ведь время, как сибилла вещая,
Нам все расскажет в должный час.

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошное увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мягкую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

ЛЕДОХОД

Уж одевались острова
Весенней зеленью прозрачной,
Но нет, изменчива Нева,
Ей так легко стать снова мрачной.

Взойди на мост, склони свой взгляд:
Там льдины прыгают по льдинам,
Зеленые, как медный яд,
С ужасным шелестом змеиным.

Географу, в час трудных снов,
Такие тяготят сознание —
Неведомых материков
Мучительные очертанья.

Так пахнут сыростью гриба,
И неуверенно и слабо
Те потайные погреба,
Где труп зарыт и бродят жабы.

Река больна, река в бреду.
Одни, уверены в победе,
В зоологическом саду
Довольны белые медведи.

И знают, что один обман —
Их тягостное заточенье:
Сам Ледовитый Океан
Идет на их освобожденье.

МУЖИК

В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубках мохнатых и темных
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.

С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.

Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?

Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.

«Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?»

В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».

ШВЕЦИЯ

Страна живительной прохлады
Лесов и гор гудящих, где
Всклокоченные водопады
Ревут, как будто быть беде;

Для нас священная навеки
Страна, ты помнишь ли, скажи,
Тот день, как из Варягов в Греки
Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид,
У золотых ворот Царьграда
Забыв Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы
Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил?

СТОКГОЛЬМ

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,
Рожденный из глубины не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и не радостный сон...

Быть может, был праздник, не знаю наверно,
Но только все колокол, колокол звал.
Как мощный орган, потрясенный безмерно,
Весь город молился, гудел, грохотал...

Стоял на горе я, как будто народу
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные рощи, леса и поля.

«О Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

ОЛЬГА

«Эльга, Эльга!» — звучало над полями,
Где ломали друг другу крестцы
С голубыми, свирепыми глазами
И жилистыми руками молодцы.

«Ольга, Ольга!» — вопили древляне
С волосами желтыми, как мед,
Выцарапывая в раскаленной бане
Окровавленными ногтями ход.

И за дальними морями чужими
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя,
Варяжская сталь в византийскую медь.

Все забыл я, что помнил ране
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
Слаще самого старого вина.

Год за годом все неизбежней
Запевают в крови века.
Опьянен я тяжестью прежней
Скандинавского костяка.

Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией надо мною,
Ольга, Ольга, кружишь ты.

ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ ПАНТУМ

Восток и нежный и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.

В себе открыла Гончарова
Павлиньих красок бред и пенье,
У Ларионова сурово
Железного огня круженье.

Павлиньих красок бред и пенье
От Индии до Византии,
Железного огня круженье —
Вой покоряемой стихии.

От Индии до Византии
Кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —
Не обновленная ль стихия?

Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
Не обновленная ль стихия —
Снопы лучей и камней груды?

Кто видит сон Христа и Будды,
Тот стал на сказочные тропы.
Снопы лучей и камней груды —
О, как хохочут рудокопы!

Тот встал на сказочные тропы
В персидских, милых миньятюрах.
О, как хохочут рудокопы
Везде — в полях и шахтах хмурых.

В персидских, милых миньятюрах
Величье жизни настоящей.
Везде — в полях и шахтах хмурых —
Восток и нежный и блестящий.

ФРАНЦИЯ

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь.

Ты была ей дивною мечтою,
Солнцем столько несравненных лет,
Но назвать тебя своей сестрою,
Вижу, вижу, было ей не след.

Только небо в заревых багрянцах
Отразило пролитую кровь,
Как во всех твоих республиканцах
Пробудилось рыцарское вновь.

Вышли кто за что: один — чтоб в море
Флаг трехцветный вольно пробежал,
А другой — за дом на косогоре,
Где еще ребенком он играл;

Тот — чтоб милой в память их разлуки
Принести «Почетный легион»,
Этот — так себе, почти от скуки,
И среди них отважнейшим был он!

Мы собирались там, поклоны клали,
Ангелы нам пели с высоты,
А бежали — женщин обижали,
Пропивали ружья и кресты.

Ты прости нам, смрадным и незрячим,
До конца униженным, прости!
Мы лежим на гноище и плачем,
Не желая Божьего пути.

В каждом, словно саблей исполина,
Надвое душа рассечена.
В каждом дьявольская половина
Радуетя, что она сильна.

Вот ты кличешь: «Где сестра Россия,
Где она, любимая всегда?»

Посмотри наверх: в созвездьи Змия
Загорелась новая звезда.

ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС

Это было золотою ночью,
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы
По щекам, морщинами изрытым,
По козлиной старческой бородке.
А за ним его бежали дети,
А за ним его бежали внуки,
И в шатре из небеленой ткани
Брошенная правнучка визжала.

«Возвратись, — ему кричали дети
И ладони складывали внуки, —
Ничего худого не случилось,
Овцы не наелись молочая,
Дождь огня священного не залил,
Ни косматый лев, ни зенд жестокий
К нашему шатру не подходили».

Черная пред ним чернела круча.
Старый кручи в темноте не видел,
Рухнул так, что затрещали кости,
Так что чуть души себе не вышиб.
И тогда еще ползти пытался,
Но его уже схватили дети,
За полы придерживали внуки,
И такое он им молвил слово:

«Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.
Этой ночью я заснул, как должно,
Обернувшись шкурой, носом в землю,

Снилась мне хорошая корова
С выменем отвислым и раздутым.
Под нее подполз я, поживиться
Молоком парным, как уж, я думал,
Только вдруг она меня лягнула.
Я перевернулся и проснулся:
Был без шкуры я и носом к небу.
Хорошо еще, что мне вонючка
Правый глаз поганым соком выжгла,
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте.
Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился».

Дети взоры опустили в землю,
Внуки лица спрятали локтями,
Молчаливо ждали все, что скажет
Старший сын с седою бородою.
И такое тот промолвил слово:

«С той поры, что я живу, со мною
Ничего худого не бывало.
И мое выстукивает сердце,
Что и впредь худого мне не будет,
Я хочу обоими глазами
Посмотреть, кто это бродит в небе».

Вымолвил и сразу лег на землю,
Не ничком на землю лег, спиною.
Все стояли, затаив дыханье,
Слушали и ждали очень долго.
Вот старик спросил, дрожа от страха:
«Что ты видишь?» — но ответа не дал
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано руками смерти.

Ух, как женщины заголосили,
Как заплакали, завыли дети!
Старый бороденку дергал, хрипло
Страшные проклятья выкликая.

На ноги вскочили восемь братьев,
 Крепких мужей, ухватили луки.
 »Выстрелим, — они сказали, — в небо
 И того, кто бродит там, подстрелим...
 Что нам это за напасть такая?»
 Но вдова умершего вскричала:
 »Мне отмщенье, а не вам отмщенье!
 Я хочу лицо его увидеть,
 Горло перервать ему зубами
 И когтями выцарапать очи».

Крикнула и брякнулась на землю,
 Но глаза зажмуривши, и долго
 Про себя шептала заклинанья,
 Грудь рвала себе, кусала пальцы.
 Наконец взглянула, усмехнулась
 И закуковала, как кукушка:
 «Лин, зачем ты к озеру? Линойя,
 Хороша печенка антилопы?
 Дети, у кувшина нос отбился.
 Вот я вас! Отец, вставай скорее,
 Видишь, зенды с ветками омель
 Тростниковые корзины тащат.
 Торговать они идут, не биться.
 Сколько здесь огней, народа сколько!
 Собралось все племя... Славный праздник!»

Старый успокаиваться начал,
 Трогать шишки на своих коленях.
 Дети луки опустили, внуки
 Осмелели, даже улыгнулись.
 Но когда лежавшая вскочила
 На ноги, то все позеленели,
 Все вспотели даже от испуга:
 Черная, но с белыми глазами
 Яростно она металась, воя:
 «Горе! Горе! Страх, петля и яма!
 Где я? Что со мною? Красный лебедь
 Гонится за мной... Дракон трехглавый
 Крадется... Уйдите, звери, звери!
 Рак, не тронь! Скорей от козерога!»

И когда она все с тем же воем,
 С воем обезумевшей собаки,

По хребту горы помчалась к бездне,
Ей никто не побежал вдогонку.

Смутные к шатрам вернулись люди,
Сели вокруг на скалы и боялись.
Время шло к полуночи. Гиена
Ухнула и сразу замолчала.
И сказали люди: «Тот, кто в небе,
Бог иль зверь, он, верно, хочет жертвы.
Надо принести ему телицу
Непорочную, отроковицу,
На которую досель мужчина
Не смотрел ни разу с вождельем.
Умер Гар, сошла с ума Гарайя,
Дочери их только восемь весен,
Может быть, она и пригодится».
Побежали женщины и быстро
Притащили маленькую Гарриу,
Старый поднял свой топор кремневый,
Думал — лучше продолбить ей темя,
Прежде чем она на небо взглянет,
Внучка ведь она ему, и жалко, —
Но другие не дали, сказали:
«Что за жертва с теменем долбленным?»

Положили девочку на камень,
Плоский черный камень, на котором
До сих пор пылал огонь священный, —
Он погас во время суматохи.
Положили и склонили лица,
Ждали, вот она умрет, и можно
Будет всем пойти заснуть до солнца.

Только девочка не умирала,
Посмотрела вверх, потом направо,
Где стояли братья, после снова
Вверх и захотела спрыгнуть с камня.
Старый не пустил, спросил: «Что видишь?»
И она ответила с досадой:
«Ничего не вижу. Только небо
Вогнутое, черное, пустое
И на небе огоньки повсюду,
Как цветы весною на болоте».

Старый призадумался и молвил:
«Посмотри еще!» И снова Гарра
Долго-долго на небо смотрела.
«Нет, — сказала, — это не цветочки,
Это просто золотые пальцы
Нам показывают на равнину,
И на море, и на горы зендов,
И показывают, что случилось,
Что случается и что случится».

Люди слушали и удивлялись:
Так не то что дети, так мужчины
Говорить доньше не умели,
А у Гарры пламенели щеки,
Искрились глаза, атели губы,
Руки поднимались к небу, точно
Улететь она хотела в небо,
И она запела вдруг так звонко,
Словно ветер в тростниковой чаще,
Ветер с гор Ирана на Евфрате.

Мелле было восемнадцать весен,
Но она не ведала мужчины,
Вот она упала рядом с Гаррой,
Посмотрела и запела тоже.
А за Меллой Аха, и за Ахой
Урр, ее жених, и вот все племя
Полегло и пело, пело, пело,
Словно жаворонки жарким полднем
Или смутным вечером лягушки.

Только старый отошел в сторонку,
Зажимая уши кулаками,
И слеза катилась за слезою
Из его единственного глаза.
Он свое оплакивал паденье
С кручи, шишки на своих коленях,
Гара, и вдову его, и время
Прежнее, когда смотрели люди
На равнину, где паслось их стадо,
На воду, где пробегал их парус,
На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут
Недоступные чужие звезды.

* * *

После стольких лет
Я пришел назад,
Но изгнанник я,
И за мной следят.

— Я ждала тебя
Столько долгих дней!
Для любви моей
Расстоянья нет.

— В стороне чужой
Жизнь прошла моя.
Как умчалась жизнь,
Не заметил я.

— Жизнь моя была
Сладостною мне,
Я ждала тебя,
Видела во сне.

Смерть в доме моем
И в доме твоём, —
Ничего, что смерть,
Если мы вдвоем.